ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ВТРОЕМ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

МИР СЦЕНЫ

РАССКАЗЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«На сцене и за кулисами: Воспоминания бывшего актёра» (*On the Stage — and Off: The Brief Career of a would be Actor, 1885*) — первая книга Джерома К. Джерома, в которой он делится своим опытом игры на сцене. Перевод Л. И. Соколовой 1900 года в современной орфографии.

- Джером Клапка Джером
  - Предисловие
  - ГЛАВА ПЕРВАЯ
  - ГЛАВА ВТОРАЯ
  - ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  - ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТАЯ
  - ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  - ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  - ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  - ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  - ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
  - ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Джером Клапка Джером
На сцене и за кулисами
Воспоминания бывшего актера

Предисловие

Я старался оставаться, насколько возможно, верным истине, когда писал те страницы, которые прочтет мой читатель. Вспоминая о том, что пришлось мне пережить, я пытался проникнуть сквозь ту волшебную завесу, которую накидывает время на все то, что прошло и что оно оставляет далеко за собою, и видеть все вещи в их настоящем свете — как каменистый путь, так и веселый ландшафт, как терновник и колючий кустарник, так и зеленую траву и колышущиеся от ветра деревья.

Теперь, когда мой труд окончен и мне, при моих воспоминаниях о прошедшем, уже не нужно более прибегать к помощи подзорной трубы, это прошедшее снова покрывается как бы дымкой, теряет свои резкие очертания, и сцена опять представляется мне тою прекрасною, волшебною страною, какою она когда-то являлась в моем воображении. Я забываю о мрачных тенях и вспоминаю только о лучах света. Те неприятности и огорчения, которые приходилось мне выносить в то время, кажутся теперь только занимательными приключениями, а досада, которую я испытывал — приятным возбуждением. Я вспоминаю о сцене, как о потерянном друге. Я с любовью останавливаюсь на том, что есть в ней хорошего и забываю о дурном… Я хочу предать забвению тех дурных людей, тех дерзких злодеев и вероломных обманщиков, которые когда-то играли на ней, и помнить только о благородных героях, добродетельных молодых девушках и старых простаках.

Не будем же вспоминать о дурном. Я встречал гораздо больше честных, добрых людей, нежели обманщиков и предпочитаю помнить о первых. Многие честные, добрые люди жали мне руку и мне самому приятно пожать мысленно руки именно таким людям. Я не знаю, где находятся теперь те, кому принадлежали эти руки и эти добрые лица. Много воды утекло с тех пор, как я встречался с ними. Все дальше и дальше уносят меня от них волны житейского моря. Но где бы они ни боролись за свое существование на этом море, я посылаю им свой дружеский привет с того места, где нахожусь сам. В надежде, что они услышат мой голос, несмотря на разделяющие нас волны, я громко приветствую их и искренно, от всей души, желаю им успеха на сцене.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я решаюсь сделаться актером

В жизни всякого человека наступает такое время, когда ему кажется, что быть актером — это его призвание. Какой-то внутренний голос говорит ему, что он — будущая знаменитость и своей игрою потрясет весь мир, Тогда у него является непреодолимое желание показать людям, как нужно играть, и получать за это триста фунтов стерлингов вознаграждения в неделю.

Это случается с человеком, когда ему бывает лет девятнадцать и продолжается лет до двадцати. Но в то время он не знает, что так бывает со всеми. Он воображает, что это только на него нашло какое-то вдохновение, что он слышит какой-то торжественный призыв, и что если он не послушается его, то это будет преступлением; а когда он увидит, что не может сразу выступить в роли Гамлета в главном Уэст-Эндском театре, так как есть много препятствий, то впадает в отчаяние.

То же самое было в свое время и со мною. Я был раз в театре, когда давали «Ромео и Джульетту», и вдруг у меня блеснула мысль, что я должен поступить на сцену, что это и есть мое призвание. Я воображал, что быть актером, это значит только одеться в трико и объясняться в любви хорошеньким женщинам, и вот я решился посвятить всю свою жизнь этому искусству. Когда я сообщил мое твердое решение приятелям, то они старались меня образумить, — то есть они назвали меня глупцом и затем прибавили, что всегда считали меня благоразумным человеком, хотя, надо сказать, что такие слова я слышал от них в первый раз в жизни.

Но отговорить меня от того, на что я так твердо решился, было невозможно.

Прежде всего я принялся изучать великих английских драматургов. Я понимал, что мне необходима некоторая подготовка и что, для начала, именно это мне и нужно. Поэтому я прочел всего Шекспира, от доски до доски — с комментариями, которые меня еще больше запутали, — Бен Джонсона, Бомона и Флетчера, Шеридана, Гольдсмита и лорда Литтона. От всего этого чуть было не помешался. Подвернись мне под руку еще какой-нибудь классический драматург, я бы, наверно, сошел с ума и стал заговариваться. Тогда, думая, что мне будет полезна перемена, я погрузился в чтение фарсов и шуток, но они еще больше нагоняли на меня тоску, чем трагедии, и тогда я начал

мало-помалу понимать, что если принять все в воображение, то участь актера незавидна. И я все больше и больше впадал в уныние, как вдруг мне случайно попала в руки маленькая книжка об искусстве грима, и тут я совсем воспрянул духом.

Я думаю, что пристрастие к «гримировке» свойственно всему человечеству. Я помню, что когда я был еще мальчиком, я состоял членом «Западного Лондонского Общества», составившегося с целью давать концерты и другие развлечения. Мы собирались раз в неделю для того, чтобы потешать наших родных песнями нашего собственного сочинения, которые пелись solo, под аккомпанемент концертины, и при этом мы всегда натирали себе руки и лица жженой пробкой. Без этого можно было вполне обойтись, и я даже думаю, что мы терзали бы наших друзей меньше, если бы избавили их от необходимости смотреть на эту прелесть, которая была совершенно излишней. Ни в одной из наших песен не упоминалось о «Дине». Мы даже не говорили друг другу каламбуров; что же касается шуток, то все они принадлежали публике. А между тем мы так добросовестно чернили себе лицо и руки, как будто бы это был какой-то религиозный обряд, а происходило это не от чего иного, как от тщеславия.

«Гримировка» очень много помогает актеру, — это не подлежит ни малейшему сомнению. По крайней мере, так было со мною. Я мог стоять сколько угодно перед зеркалом и репетировать роль, ну хоть бы, например, пьяного разносчика с яблоками. Я был совершенно неспособен войти в роль. Хотя мне и стыдно признаться, но, право, я был гораздо больше похож на молодого пастора, нежели на разносчика, не только на пьяного но даже на трезвого, поэтому и не получалось никакой иллюзии, хотя бы и на самое короткое время. То же самое было и тогда, когда я хотел изобразить из себя отчаянного злодея: я был вовсе не похож на отчаянного злодея. Я мог бы представить себе, что я способен идти гулять в воскресенье, или сказать «черт побери», или даже играть по маленькой, но было бы прямо нелепо предположить, что я могу дурно обращаться с прелестной и беззащитной женщиной или убить моего деда. Посмотрев на свое лицо, я понимал, что не могу сделать этого. Это прямо противоречило всем законам, выведенным Лафатером. Самое свирепое и грозное выражение, какое только я мог придать своему лицу, было слишком слабым и совсем не соответствовало моим речам, в которых говорилось, что я жажду крови; а когда я делал попытки сардонически улыбаться, то имел только глупый вид.

Но курчавые волосы и баночка с румянами изменили все это

сразу. Я только тогда и понял роль Гамлета, когда наклеил себе фальшивые брови и сделал впалые щеки. С бледным цветом лица, черными глазами и длинными волосами я был Ромео и до тех пор, пока не отмывал себе лица, любил Джульетту до такой степени, что даже позабывал о своих кузинах. Когда у меня был красный нос, то у меня проявлялся и юмор, а с редкой черной бородой я был готов совершить сколько угодно преступлений.

Но как я ни старался научиться декламации, это дело шло у меня далеко не так успешно. К моему несчастью, я отлично понимал, что смешно, и страшно боялся показаться смешным — это было у меня что-то болезненное. Моя чрезмерно развитая чувствительность в этом отношении могла помешать мне когда-нибудь и при каких бы то ни было обстоятельствах играть хорошо на сцене; она меня стесняла и ставила мне препятствия решительно во всем, — и не только, если бы я был на сцене, но даже и в моей комнате, при запертой двери. Я всегда страшно боялся, чтобы кто-нибудь меня не подслушал и половину времени употреблял на то, что прикладывал ухо к замочной скважине, чтобы убедиться, не подслушивает ли кто за дверью; стоило только немного заскрипеть лестнице, и я сразу останавливался посреди какого-нибудь монолога и сейчас же начинал свистать, или что-нибудь напевать вполголоса, по-видимому, самым беспечным образом, с целью показать другим, что я только забавляюсь. Я пробовал делать и так: вставать спозаранку и уходить в Гемстедскую степь, но и из этого не вышло никакого толку. Если бы я мог уйти в пустыню Сахару и посредством сильной подзорной трубы убедиться, что кругом, на расстоянии двадцати миль от меня, нет ни единой живой души, — то только именно таким образом, а не иначе, я и мог бы научиться декламации. Если я и возлагал какие-нибудь надежды на Гемстедскую степь, то все они рушились на второе же утро, как я пришел туда. Будучи вполне уверен, что я теперь далеко от выводившей меня из терпения толпы, я совершенно забылся и, продекламировав с большим пафосом речь Антония над трупом Цезаря, хотел начать что-нибудь другое, как вдруг услыхал у себя за спиною, в кустах, довольно громкий шепот. «На что же это похоже, Лиза! Джо, беги скорее и скажи Амалии, чтобы она привела сюда Джонни».

Я не стал дожидаться этого Джонни. Я бросился бежать отсюда и бежал со скоростью шести миль в час. Добежав до Кемден-Тоуна, я осторожно оглянулся и посмотрел назад. Увидев, что за мною не гонится толпа народа, я почувствовал облегчение, но с тех пор уже не упражнялся более в Гемстедской степи.

После двухмесячных упражнений такого рода я был убежден,

что выучился всему, что только требовалось от актера, и что я готов «к выходу на сцену». Но тут естественно возник вопрос: «Каким образом я могу добиться выхода на сцену»? Моею первою мыслью было написать одному из главных антрепренеров, изложить ему откровенно чего я добиваюсь и сказать, хотя и скромно, но прямо, что у меня есть талант. Получив мое письмо — так рассуждал я — он напишет мне в ответ, что приглашает меня к себе, чтобы иметь возможность самому убедиться в моих способностях. После этого я, в назначенное время, войду в театр и отдам свою карточку. Он попросит меня в свой кабинет и, поговорив немного о чем-нибудь, напр., о погоде, о последнем убийстве и т. д. и т. д., скажет, что желал бы послушать, как я продекламирую какую-нибудь коротенькую сцену или прочту один или два монолога. Все это я и сделаю, но так, что он разудивится и тут же пригласит меня в свой театр, положив мне небольшое вознаграждение. Я был уверен, что вначале мне дадут не много, но все-таки воображал, что это выйдет около пяти или шести фунтов стерлингов в неделю. После этого все остальное будет легко. Я буду играть несколько месяцев, может быть, даже и год, без особенного успеха. Но, наконец, мне представится случай показать себя. На сцену поставят новую пьесу, в которой будет какая-нибудь второстепенная роль, считающаяся не особенно важной, но при моей игре (я только-что прочел в то время историю «Лорда Дондрери» и поверил всему, что в ней говорилось), она получит в пьесе важное значение и о ней заговорит весь Лондон.

Я возьму город с бою, составлю состояние моему антрепренеру и буду самым выдающимся из современных актеров. И я имел обыкновение рисовать в своем воображении, что произойдет в тот вечер, когда я поражу весь мир, и подолгу останавливался на этой картине. Мне казалось, что я вижу перед собою обширную театральную залу и куда ни посмотришь, везде возбужденные взволнованные лица. Мне казалось, что я слышу охрипшие голоса публики, кричащей «браво» — и этот крик отдается у меня в ушах. Я несколько раз выхожу на сцену и раскланиваюсь, и всякий раз меня встречают новым взрывом рукоплесканий, выкрикивают мое имя, прибавляя к нему «браво», и машут шляпами.

Но, несмотря на это, я все-таки так и не написал ни одному антрепренеру. Один из моих приятелей, которому это дело было немножко знакомо, сказал, что будь он на моем месте, он не стал бы писать, а поэтому я и не написал. Я просил у него совета, как поступить в этом случае, и он сказал мне: «Сходи к какому-нибудь комиссионеру и объясни ему, что тебе нужно». Я был у

двух или трех комиссионеров и сказал им, что мне нужно, и они были также откровенны со мной и сказали мне, что *им* нужно, а это значило, что прежде всего следовало заплатить пять шиллингов за то, что они запишут меня в книгу. Впрочем, надо отдать им справедливость, — ни один из них не выказал особенной охоты записывать меня; никто из них не обнадеживал меня, что я составлю себе состояние. Я полагаю, что моя фамилия еще до сих пор значится в книгах у многих комиссионеров — по крайней мере я потом уже никогда не заглядывал к ним и не просил, чтобы они меня вычеркнули — и думаю, что который-нибудь из них найдет мне отличный ангажемент именно в такое время, когда я сделаюсь лондонским епископом, или издателем распространенной в обществе газеты, или еще чем-нибудь в том же роде.

Нельзя сказать, что они ничего не сделали для меня только потому, что я не приставал к ним. Я постоянно их «понукал», как я выражался; понуканье это состояло в том, что я, в продолжение получаса, внимательно рассматривал фотографии, вывешенные у входа в их контору, и тогда они высылали мне сказать, чтобы я зашел опять как-нибудь. У меня были определенные дни, в которые я исполнял эту обязанность; в эти дни я обыкновенно говорил себе поутру: «Ну, нынче мне нужно опять идти к этим комиссионерам и понукать их». Говоря это, я думал, что делаю важное дело, и у меня мелькала даже мысль, что, может быть, я переутомляюсь. Если мне случалось встретить на дороге какого-нибудь приятеля, то я, вместо того чтобы поздороваться, говорил ему: «Мне некогда, дружище. Я иду к моим комиссионерам», пожимал ему почти на ходу руку и стремился вперед; он же, вероятно, думал, что комиссионеры вызывают меня телеграммой.

Но мне так и не удалось пробудить в них сознание того, что по отношению ко мне они являются людьми ответственными и, по прошествии некоторого времени, мы взаимно начали надоедать друг другу, и тем более, что около этого времени я напал на двух или трех плутов, которые только выдавали себя за комиссионеров — или, лучше сказать, они на меня напали — и которые принимали меня гораздо любезнее.

Контора одной из этих фирм, которая очень много обещала (хотя совсем не исполняла своих обещаний) помещалась тогда на Лейстер-сквер; у этой фирмы было два компаньона, но, впрочем, один из них был постоянно в деревне по какому-то важному делу, так что его никогда нельзя было видеть. Я помню, что тут вытянули у меня четыре фунта стерлингов и выдали письменное обязательство доставить мне, в течение месяца, платный ангажемент в Лондоне. Но вот, в то время, когда назначенный

срок подходил уже к концу, я получил длинное сочувственное письмо от таинственного компаньона, бывшего все время в разъездах. Оказывалось, что этот субъект, до сих пор живший постоянно в деревне, вернувшись только накануне в город, узнал о таких делах, от которых у него стали дыбом волосы. Его компаньон, тот самый господин, которому я заплатил четыре фунта стерлингов, мало того, что надул всех клиентов, требуя с них деньги за ангажементы, которых он не имел никакой возможности им доставить, обокрал и его самого, т. е. того, кто писал это письмо, более, нежели на семьдесят фунтов стерлингов, и пропал без вести.

Мой корреспондент выражал глубокое сожаление, что я был так бессовестно обманут, и надеялся, что я присоединюсь к нему, чтобы начать иск против его скрывшегося компаньона… когда его отыщут. В конце письма говорилось, что за доставку ангажемента, который мне предлагали, четыре фунта стерлингов — это страшно дорогая цена и что если я дам ему (человеку, который имеет полную возможность сдержать свое обещание) только два фунта стерлингов, то он достанет мне ангажемент через неделю, и, самое позднее, через десять дней. Не угодно ли будет мне пожаловать к нему сегодня вечером? В тот вечер я к нему не пошел, но пошел на другой день поутру. Я нашел дверь запертою и на ней объявление, что все письма должны быть оставляемы у дворника. Сходя вниз по лестнице, я встретился с одним человеком, который поднимался кверху и спросил у него, не знает ли он, где найти обоих компаньонов. Он ответил мне, что и сам готов заплатить соверен, чтобы только узнать об этом, и прибавил, что он — хозяин дома.

Я недавно опять слышал об этой фирме и думаю, что ее дела все процветают, хотя, конечно, ей приходится каждый месяц менять свою фамилию и место жительства. Кстати: неужели же эта язва никогда не выведется. Может быть, в настоящее время, когда образование сделалось для всех обязательным, актеры и антрепренеры нового поколения сумеют сами заняться своими делами и обойдутся без посредства комиссионеров.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Я делаюсь актером

К комиссионерам-плутам должны быть отнесены и так называемые «профессора», м-р такой-то или такой-то, которые всегда «имеют возможность поместить двух или трех человек (никогда больше двух или трех мест у них не бывает, так что четвертому человеку бесполезно к ним обращаться) актеров-любителей — дам и мужчин, высокого или среднего роста, брюнетов или блондинов — это все равно, но они непременно должны иметь приятную наружность, — в главный Уэст-Эндский театр, на хорошие роли. Ангажемент платный.» Эти джентльмены умеют оценить человека по достоинству и сейчас заметят настоящий талант. Они сразу увидали, что у меня есть талант.

Все они без исключения были уверены, что из меня выйдет великолепный актер и что я был именно таким человеком, какой им нужен. Но, как люди добросовестные, они не скрывали истины и без всякого стеснения говорили о моих недостатках. Они говорили, что я подаю большие надежды, что во мне есть задатки, чтобы сделаться знаменитым актером, но… замечательно, что ни один из них не сходился с другим в этом «*но*». Один говорил, что у меня слаб голос, что мне нужно только развить голос и тогда я буду совершенством. Другой же думал, что голос у меня прекрасный, но только моя мимика никуда не годится. Будь у меня мимика повыразительнее, — он сейчас же достал бы мне ангажемент. Третий, перед которым я продекламировал один или два небольших монолога из Макбета, хлопнул меня по плечу и непременно захотел пожать мне руку. Он чуть ли не прослезился, так как, по-видимому, был очень тронут. Он сказал мне:

— Молодой человек, у вас есть талант! Вы — актер! Но у вас нет шика.

Я же, совершенно не понимая, что он хочет сказать, ответил ему:

— Вы думаете?

Он был уверен в этом. Без шика я не буду иметь никакого успеха, а если у меня будет шик, то я скоро сделаюсь знаменитостью. Я решился во что бы то ни стало приобрести этот шик и почтительно спросил его, что для этого нужно было делать. Он помолчал с минуту, очевидно соображая сам, как следовало поступить в этом случае, я же стоял и со страхом ждал ответа. И вдруг ему пришла в голову блестящая мысль. Он с таинственным видом положил мне на плечо свою руку и очень выразительно,

так, как стал бы говорить человек, сообщающий какое-нибудь замечательное открытие, сказал:

— Приходите ко мне два раза в неделю, ну хоть по вторникам и пятницам, от восьми до девяти часов.

Сказав это, он отступил на несколько шагов для того, чтобы посмотреть, какое действие произвели на меня его слова.

Я отвечал, что, вероятно, он хочет сказать, что будет учить меня этому шику. Его, по-видимому, очень удивила моя сообразительность, и он подтвердил, что таков действительно и был смысл его слов. Он сообщил мне опять с такою же таинственностью, как будто бы он хотел, чтобы о том, что он говорит, никто не знал кроме меня, — что он очень сведущ именно в этой отрасли драматического искусства. У него, в ящике его письменного стола, сохранялись письма от многих известных актеров и актрис, людей, сделавшихся знаменитостью, где они признавались ему, что одолжены своим настоящим положением исключительно его урокам и благодарили его за все, что он для них сделал. Он хотел показать мне эти письма и встал с места, чтобы достать их. Но затем раздумал и сказал, что лучше не покажет этих писем: они были написаны конфиденциально, и он не имеет права показывать их посторонним лицам, даже и мне, хотя и думает, что мне доверять можно. Он никогда не показывал этих писем ни мне, ни другим лицам, как я узнал после, — в этом надо отдать ему полную справедливость, хотя следует заметить, что позже мне пришлось встретиться с тремя или четырьмя субъектами, которые говорили ему, что им очень хочется посмотреть эти письма.

Но я сделался теперь поумнее, так как меня научил печальный опыт, а потому я ушел от него, не вручив ему пяти фунтов стерлингов — суммы, которую я, как человек практичный, должен был считать ничтожною: он, видите ли, всегда получал за свои труды двадцать гиней; но, несмотря на это, он все-таки заинтересовался мною и высказал уверенность в том, что я подумаю, стану брать у него уроки и тогда за все его вознагражу.

Есть и еще люди, умеющие эксплуатировать тех олухов, которым взбредет на ум фантазия сделаться актерами, — это антрепренеры, у которых имеются вакантные места «для актеров-любителей, дамы и мужчины, в труппе, составленной из избранных лиц». Это, очевидно, такие субъекты, которые твердо верят в ту истину, что все люди — как мужчины, так и женщины — актеры, потому что они дают совсем неподготовленным новичкам главные роли и притом бывают до такой степени уверены в успехе, что это, право, трогательно; хотя надо заметить, что кандидату на актера, игравшему до сих пор только в своей

гостиной, делается немножко жутко когда ему дадут роль Банко или полковника Дэмаса для открытия театра в следующую субботу. Он и сам не может понять, что это такое — может быть, недоразумение, или над ним хотят подшутить для потехи остальной труппы, или же антрепренер действительно знающий человек и увидал, что у него есть талант. Говорить об этом он не любит, а иначе могут подумать, что он не надеется на свои силы, — а новичок на сцене редко страдает этим недостатком. А потом у него могут отнять эти роли, что ему вовсе не желательно, хотя в то же время он вполне убежден, что мог бы сыграть гораздо лучше этой все другие роли в пьесе.

Мне только один раз и пришлось иметь дело с антрепренером-обманщиком — по крайней мере, обманщиком именно такого сорта. К несчастью, есть между ними обманщики и другого рода, что хорошо известно большинству актеров, изведавших это собственным горьким опытом, но с последними мне не приходилось встречаться, да и вообще каковы бы они ни были, я сожалею, что имел с ними дело.

По одному помещенному в газетах объявлению явилось около полудюжины таких же глупцов, как я, и мы собирались каждый вечер на репетиции в один дом на Ньюман-стрит.

Три или четыре известных актера, которые в это время пожинали лавры в провинции, должны были приехать к нам в начале следующей недели на главные роли, и сейчас же после их приезда вся труппа отправлялась в Грэвсэнд. Я поступил на жалованье один фунт стерлингов и пятнадцать шиллингов в неделю, и мне даны были роли Джильберта Фэзсерстона в пьесе «Пропавший без вести в Лондоне» и Короля в «Гамлете». Все шло как по маслу; не было и помина о вознаграждении или о чем-нибудь в этом роде; и хотя я в это время сделался чрезвычайно подозрительным, но думал, что тут, во всяком случае, нет никакого плутовства.

Но я вскоре открыл, в чем был обман. Когда мы собрались в пятый раз на репетицию, наш антрепренер был необыкновенно любезен и насказал мне кучу комплиментов, говоря, что я играю свои роли очень оригинально. Во время остановок он, фамильярно положив мне руку на плечо, говорил со мною о том, как следует играть пьесу. У нас вышел с ним небольшой спор относительно роли Короля. Сначала он был несогласен со мной в одном или двух пунктах, но потом согласился с моим взглядом и признал, что я прав. Затем он спросил меня, в какой костюм я намерен одеться для этой роли. Так как я уже думал об этом еще прежде, чем выучил слова, то нисколько не затруднился ответить на этот вопрос; мы вошли с ним во все подробности и решили,

что я выйду на сцену в самом великолепном костюме. Он даже и не подумал удерживать меня, хотя мне не раз приходило в голову, что он станет ворчать на то, что это обойдется ему слишком дорого, но, нет, — он, по-видимому, заботился не менее меня, чтобы костюм был сделан со вкусом. «Это обойдется слишком дорого», говорил он; «но если уж делать что-нибудь, то нужно делать по-настоящему», прибавил он, и я вполне с ним согласился. Затем он начал считать, что это будет стоить. Он сказал, что может покупать костюмы за очень дешевую цену — гораздо дешевле, чем кто-нибудь другой, так как у него есть приятель, занимающийся этим делом, и последний уступит ему костюмы за ту цену, которую они стоят ему самому. Я сказал, что я очень рад, но так как это не касалось меня лично, то мне начали надоедать его долгие разговоры о костюмах. Высчитав стоимость, он пришел к заключению, что все обойдется в девять фунтов стерлингов.

— И это очень дешево, — сказал он, — все принадлежности костюма будут хорошие и могут всегда пригодиться.

Я опять согласился с ним и заметил, что, вероятно, они будут стоить заплаченных за них денег, но только я не мог понять, какое отношение это имело ко мне.

Затем он пожелал узнать, когда я заплачу деньги — сегодня вечером или же принесу их в следующий раз.

— Я! Я — платить! — вырвалось у меня. Я был так удивлен, что даже не соблюдал грамматических форм. — За что же это?

— Как за что! Да за костюм, — отвечал он, — ведь, не можете же вы играть роль без костюма, а если вы сами купите все принадлежности костюма, то переплатите около четырех фунтов стерлингов лишнего, вот и все. Если вы не можете заплатить всех денег сейчас, — продолжал он вкрадчивым голосом, — то дайте мне, сколько у вас есть, я постараюсь уговорить моего приятеля подождать за вами остальные деньги.

Когда я стал потом расспрашивать других актеров, то оказалось, что трое из них уже дали ему по пяти фунтов стерлингов каждый, а четвертый имел намерение вручить ему на следующий день четыре фунта стерлингов и десять шиллингов. Я же сговорился еще с одним товарищем подождать и посмотреть, что будет. Но мы так ничего и не дождались.

Знаменитых актеров мы в глаза не видали, а через день после этого нашего антрепренера и след простыл. Те же, которые заплатили за костюмы, конечно, уже его никогда не видали.

После этого я захотел сам разыскать себе что-нибудь подходящее, без помощи каких бы то ни было комиссионеров или печатных объявлений. Во всяком случае, дело пойдет у меня

удачнее, чем оно шло до сих пор, думал я. Те друзья, которые прежде советовали мне отнюдь не писать к антрепренерам, были того же мнения и полагали, что самое лучшее для меня — это зайти как-нибудь в «Западный театр», и я так и поступил. Я думаю, что нет ни одного актера, который не знал бы «Западного театра», хотя последний и старается скрыться на каком-то темном дворе, потому что, по всему вероятию, и он, подобно своим актерам, любит уединение.

Я нашел тут веселую и радушную труппу, которая не отказалась от выпивки на мой счет. Когда же я намекнул актерам о своем желании избрать эту же профессию, то они посмотрели на меня с глубоким сожалением и, по-видимому, очень опечалились. Они покачали головой с самым серьезным видом, стали рассказывать мне то, что пришлось вынести им самим и всеми силами старались отговорить меня от этого намерения. Но я думал, что они — эгоисты, которые хотят помешать молодому таланту выступить на сцену. Если даже они дают мне совет с благим намерением, — так рассуждал я, — то на него не стоит обращать внимания. Всякий человек считает самою дурною именно ту профессию, к которой он принадлежит сам, и если для того, чтобы избрать какую-нибудь профессию дожидаться, чтобы ее одобрили люди, уже принадлежащие к ней, то ему придется просидеть всю жизнь без дела. Поэтому я не обратил никакого внимания на их предостережение, но продолжал идти своей дорогой и, наконец, нашел такого человека, который помог мне в моих поисках.

Это был толстый, обрюзглый господин, который не мог жить без шотландского виски и большой сигары и который никогда не бывал ни вполне пьяным, ни вполне трезвым. Пахло от него не особенно хорошо — в этом было тем легче убедиться, что он, говоря с кем-нибудь, имел привычку сильно дышать прямо в лицо своему собеседнику. Прежде он был провинциальным антрепренером, но чем он потом добывал средства к существованию, — это так и осталось для меня тайной. Я с ним обо всем договорился в первый же день.

Когда я увидался с ним в следующий раз, то он сказал мне, что дело устроено. Он достал для меня ангажемент у одного антрепренера из Сэррея, которому он хотел меня представить на следующий день, когда я могу подписать контракт и покончить дело. Поэтому на следующий день, в одиннадцать часов утра, я должен был придти к нему в контору… и принести с собой деньги. Это он сказал мне, прощаясь со мною.

Домой я от него не пошел, а побежал вприпрыжку. Придя домой, я растворил настежь дверь и мигом взбежал по лестнице;

но я был слишком взволнован и не мог сидеть в комнате. Я пошел и заказал себе обед в первоклассном ресторане, за что пришлось мне заплатить так дорого, что мои скудные средства значительно уменьшились. «Это ничего, — думал я, — что значат несколько шиллингов, когда я скоро буду зарабатывать сотни фунтов стерлингов»? Я пошел в театр, но, право, не знаю, какой это был театр и что давали, и, надо полагать, что этого я не знал и в то время. Я присматривался немножко к игре актеров, но при этом думал, что сам я мог бы гораздо лучше сыграть каждую из этих ролей. Я спрашивал себя, мог ли бы я сойтись с этими актерами и актрисами, если бы я с ними познакомился. Я думал, что мне могла бы понравиться примадонна, и воображение рисовало мне со всеми подробностями такую картину: я отчаянно ухаживаю за ней, а все остальные актеры ревнуют меня к ней до безумия. Потом я вернулся домой и лег спать, но не мог сомкнуть глаз и промечтал всю ночь.

На следующий день я поднялся в семь часов утра и позавтракал на скорую руку, чтобы не опоздать и быть на месте в одиннадцать часов, как было условлено между нами. Я думаю, что не проходило минуты без того, чтобы я не посмотрел на свои карманные часы (где-то теперь эти часы!). Около десяти часов я отправился на Стрэнд и тут начал ходить взад и вперед на небольшом расстоянии, так как боялся и отойти слишком далеко от конторы, и в то же время подойти к ней слишком близко. Я купил себе новые перчатки. Я помню, что они были цвета семги и одна из них лопнула в то время, когда я напяливал ее на руку, поэтому я надел только одну перчатку, а другую смял и носил в руке. Когда до назначенного времени осталось только двадцать минут, я повернул в ту улицу, где находилась контора, и начал ходить взад и вперед уже здесь, причем мне казалось, что все живущие на этой улице знают, зачем я пришел сюда и потихоньку смотрят на меня из-за штор и занавесок, — и испытывал очень неприятное чувство. Казалось, что никак не дождешься одиннадцати часов, но вот, наконец, пробило одиннадцать на колокольне, и я направился к двери, стараясь принять на себя такой вид, как будто я только сейчас пришел.

Когда я подошел к конторе, то увидал, что в ней никого нет, потому что дверь была заперта. У меня так и замерло сердце. Неужели же все это было только жестокой мистификацией? Неужели меня и тут ожидало разочарование? Уж не убили ли антрепренера? Не сгорел ли театр? Почему здесь не было ни того, ни другого? Должно быть, случилось что-нибудь необыкновенное, а иначе они не запоздали бы для такого важного дела. Я прождал почти целых полчаса и не знал, чему это приписать, но, наконец,

они пришли. Они надеются, — говорили они, — что не заставили меня ждать, на что я отвечал: «О нет, мне совсем не пришлось ждать», и пробормотал что-то вроде того, что я и сам только сейчас пришел.

Когда все мы трое вошли в маленькую контору, то я был представлен антрепренеру: он оказался актером, которого я часто видал на сцене, хотя он был совсем не похож на того человека, которого я видал на сцене и годился бы ему в сыновья; он был гораздо ниже ростом и моложе. Чисто выбритое лицо всегда придает актерам моложавый вид. Сначала мне не верилось, что те серьезные юноши, с которыми мне приходилось встречаться на репетиции, были людьми среднего роста, женатыми и имели семью.

Вместе с этим мой будущий антрепренер не оправдал моих ожиданий. Судя по его платью, нельзя было сказать, что он не жалеет денег на костюмы, чего, по моему мнению, нужно было ожидать от человека, занимающего такое положение. Сказать по правде, он имел очень жалкий вид. Впрочем, я приписал это тому, что он совсем не заботится о своей наружности, что мы так часто встречаем у людей очень богатых, и старался припомнить рассказы о миллионерах, которые ходили чуть ли не в лохмотьях; я вспомнил также и о том, что раз мне пришлось видеть мать одной из наших выдающихся комических актрис и я был поражен ее донельзя неопрятным костюмом… то есть костюмом матери.

Контракт был уже написан ими в двух экземплярах; антрепренер и я, мы подписались, каждый, на глазах у другого, под одним из них и затем обменялись. После этого я вручил ему банковый билет в десять фунтов стерлингов, и он дал мне расписку в получении от меня денег. Были строго соблюдены все формальности. Контракт был написан очень ясно и точно, так что не могло выйти никакого недоразумения. В нем говорилось, что первый месяц я обязан был играть даром, а после этого должен был получать *жалованье, смотря по способности*. Это казалось мне вполне справедливым. Но, может быть, он поступил тут немножко неосторожно, потому что это могло обойтись ему слишком дорого. Впрочем, он сказал мне откровенно, что не думает, чтобы ему пришлось платить мне больше тридцати шиллингов в неделю в течение первых двух или трех месяцев, хотя, конечно, это вполне зависит от меня, и он будет очень рад, если его предположения не оправдаются. Я же составил себе на этот счет совсем другое мнение, но не высказывал его, думая, что всего лучше подождать, и пусть время докажет, что я прав. Поэтому я сказал, что желаю только одного — чтобы все было сделано честно и справедливо, а так как, по-видимому, он только

этого от меня и требовал, то мы расстались с ним в самых дружеских отношениях; но прежде чем проститься, мы уговорились решительно обо всем, до малейших подробностей. Он намерен был открыть театр на летний сезон через три недели, а репетиции должны были начаться за две недели до открытия. Итак пройдет и еще неделя, в течение которой я еще ничем не заявлю себя, а потом я сделаюсь актером!!![1]

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Вход на сцену

Но я получил приглашение явиться в театр только за неделю до начала представлений. «Труппа должна была собраться на сцене в одиннадцать часов» и поэтому за несколько минут до одиннадцати я стоял у двери, ведущей на сцену.

Вход этот был очень мрачен на вид; он находился в одной из глухих улиц; по одну сторону его была цирюльня, а по другую — угольный сарай. Освещавшее этот вход яркое весеннее солнце делало его, по контрасту, еще более непривлекательным, и я сравнил его со входом в тот заколдованный замок, о котором говорится в волшебных сказках: там чем мрачнее дверь, в которую входит принц, тем великолепнее залы. Но это сравнение я сделал прежде, чем увидал то, что было внутри здания.

Но мне нельзя было стоять на улице и размышлять. Было уже две минуты двенадцатого, вся труппа могла быть в сборе и ждали только меня. Я взялся за щеколду и… Но подождите, пожалуйста. Прежде, чем я отворю эту дверь и освещу ярким светом тот мирок, который находится за нею, позвольте мне сказать несколько слов для объяснения того, что будет сказано дальше.

Театральный мир очень обширен. От одного из главных лондонских театров очень далеко до переносного балагана (у меня нет намерения сделать какой-нибудь не особенно лестный намек на наших талантливых американских собратий), и мы видим в промежутке между ними большое разнообразие. Мне знакомы, по собственному опыту, только три или четыре разновидности и я, конечно, не имею понятия обо всех театрах, которые существуют в этом мире. Я играл недолгое время на сцене небольших лондонских театров, был актером во второразрядных и третьеразрядных странствующих труппах и буду говорить исключительно об этих театрах и труппах. Но о них — то есть, о том, что пришлось мне видеть собственными глазами — я буду говорить без всякого стеснения, постараюсь передать все виденное мною именно в таком свете, в каком оно мне казалось в то время; я не буду ничего смягчать, но не буду также ни о чем говорить со злобой.

Очень может быть, что давая все эти объяснения, я сочту необходимым сделать несколько дельных и оригинальных замечаний, посоветовать актерам и актрисам, что они должны и чего они не должны делать; объяснить антрепренерам, как они должны вести свои дела, и, вообще, дать добрый совет всем и

каждому. Поэтому я желаю, чтобы мои читатели прежде всего ясно поняли что, поступая таким образом, я имею в виду только ту часть театрального мира, с которой я знаком. Что же касается таких театров, каковы, напр., «Лицей», или Сент-Джемсский, то там прекрасная дирекция и, может быть, только я сам мог бы так управлять ими, а потому и не нахожу в них никаких недостатков. Если бы даже я их и находил, то не стал бы упоминать о них в этой книге, потому что в своих воспоминаниях хочу говорить только о том, что вполне понимаю — довольно странное решение со стороны автора, — согласен; но нет нужды, — я люблю иногда пооригинальничать. После этих разъяснений давайте толкнем дверь и войдем.

Отворив дверь, я увидел за стеклянной перегородкой маленького ростом старичка, который, тяжело дыша, жарил на угасавшем огне копченую селедку. В это утро я чувствовал расположение ко всем живым существам и поэтому заговорил ласково даже с этим бедным, страдавшим одышкой, стариком. Я сказал ему:

— Здравствуйте. Какая прекрасная погода!

А он мне в ответ:

— Затворите, пожалуйста, дверь, или выдьте на улицу.

Я исполнил его просьбу, затворил дверь и, прислонившись к ней, ждал, пока он окончит поджаривать селедку. Когда это дело было окончено, то я опять сделал попытку заговорить с ним. Я сказал ему, что моя фамилия такая-то. Само собою разумеется, что я уже принял для сцены другую фамилию. Все так делают и неизвестно почему; я уверен, что *они* и сами этого не знают. Будучи уже актером, я встретил одного молодого человека и, по странному стечению обстоятельств, его настоящая фамилия была именно такая, под которой я был известен на сцене, тогда как он принял для сцены мою настоящую фамилию. Мы оба были счастливы и довольны собой до тех пор, пока не встретились друг с другом; но после этого мы стали мрачнее смотреть на жизнь, со всеми ее мистификациями и суетою.

Так как моя фамилия не произвела, по-видимому, никакого действия на театрального швейцара — он оказался швейцаром — то я выпалил свой последний заряд и сказал, что я — актер. Тут он как бы проснулся. Это так его наэлектризовало, что он перестал смотреть на селедку и взглянул на меня. Насмотревшись на меня досыта, он сказал: «Через дверь» и занялся опять тем же, чем прежде, — как я думал, приготовлением своего завтрака; у него был какой-то угрюмый, точно заспанный взгляд.

Поняв из его слов, что тут должен быть где-то неподалеку двор и что если я его найду, то должен пройти через него, я

отправился отыскивать этот двор. Наконец, я нашел его совершенно неожиданно, благодаря тому, что споткнулся о кошку, которая терлась о мои ноги, и головою растворил настежь какую-то дверь. Едва только я очутился на этом дворе, как меня окружили кошки, которых было, по крайней мере, полдюжины. Они были, по-видимому, голодны и с восторгом меня приветствовали, приняв меня по ошибке за человека, который развозит мясо для кошек и на которого я был ничуть не похож. Кошек держат в театрах для того, чтобы истреблять крыс, но иногда сами кошки так размножаются, что приносят больше вреда, чем крысы, и тогда бывает необходимо держать такого человека, который истреблял бы кошек. Эти кошки очень интересуются драматическими представлениями. Они считают своей обязанностью появляться в пьесе во время самых патетических сцен; тогда они садятся посредине сцены и начинают заниматься своим туалетом, употребляя при этом свойственные им оригинальные приемы.

Пройдя через двор, по указанию швейцара, и пробравшись ощупью через какой-то темный коридор, находившийся в конце двора, я очутился в каком-то мрачном погребе, где слышался глухой гул и видны были странные тени с неясными очертаниями; по крайней мере, мне так показалось.

Я не могу теперь сказать, какое понятие я имел до этого времени о том месте, которое называется «за кулисами». Оно было уничтожено так быстро и так неожиданно, что в настоящее время от него не осталось и следа. Я знаю, каким образом оно у меня составилось: отчасти благодаря прелестным эскизам Доуэра Уильсона, изображающим прекрасных молодых девушек (в национальном костюме), грациозно прислонившихся к задней стороне декораций и скрестивших свои хорошенькие ножки; отчасти, благодаря описаниям моих приятелей, рассказывавших, что они бывали там, а отчасти, благодаря собственному воображению, а оно у меня, надо заметить, очень живое. Но действительность превзошла все, что могла породить самая дикая фантазия. Мне даже и во сне не снилось ничего до такой степени ужасного, как пустой театр при дневном свете, или, лучше сказать, при дневной тьме, даже и тогда, когда я ел за ужином бифштекс и пил портер.

Сначала я не мог ничего видеть; но потом мои глаза попривыкли к слабому свету и я имел возможность разглядеть окружавшие меня предметы. Декорации, принадлежавшие этому театру (а это были такие декорации, какие могут быть в театре, где кресло стоит три шиллинга, а место на галерее четыре пенса) были покрыты грязным белым холстом. Табуреты для музыкантов

и пюпитры для нот, вместе с большим барабаном и виолончелью в чехле из зеленой байки, были все свалены в кучу в одном углу; представлялось как будто бы они сами дали накануне свое собственное представление, после которого все перепились. А потом на эту мысль наводило еще и то обстоятельство, что перила галереи, которые можно было видеть со сцены — хотя казалось, что до них очень далеко, без малого полмили — были все заставлены порожними бутылками и грязными оловянными кружками и стаканами. Везде были нагромождены как ни попало рваные, заплатанные декорации, — если посмотреть поближе, то это была такая мазня, в которой ничего не разберешь; они были приставлены и к большим деревянным перекладинам, поддерживавшим «леса» или «колосники», и к боковым стенам, а также свалены в кучу и в глубине сцены на том месте, которое называется «задним планом»; они лежали на полу у моих ног, или висели у меня над головой. Посредине сцены стоял расшатанный стол, а на столе бутылка из-под имбирного пива, в которую была воткнута свечка.

Солнечный луч, пробившийся неизвестно через какую щель, прорезывал этот мрак полосою света и служил наглядным доказательством того, что в этом месте было страшно много пыли. Какая-то женщина, страдавшая насморком и громко чихавшая, подметала пол в партере, а неизвестное, невидимое глазом, животное, которое я, судя по производимому им шуму, счел за маленького мальчишку, пронзительно свистало где-то около уборных. Шум, доходивший сюда с улицы, звучал как-то глухо, но если в самом театре роняли стул или хлопали дверью, то по всему зданию раздавался такой гул, что пауки прятались со страху в свои щели.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
За кулисами

Я целых полчаса оставался на сцене совершенно один. Актеры непременно должны запаздывать на репетицию — этого требует театральный этикет. Судя по тому, насколько запаздывает актер на репетицию, вы можете увидать, какое положение он занимает в труппе. Если он (я не говорю ни слова о дамах: они всегда, не во гнев им будь сказано, запаздывают на целый час и не только на репетиции, но и в других случаях) опаздывает на двадцать минут, то он, по всей вероятности, не более как «полезность». А если актер заставляет всех остальных ждать себя полтора часа, то так и знайте, что это — звезда первой величины.

Я провел время довольно приятно, потому что везде ходил и делал разные открытия. По трясущейся деревянной лестнице я влез на «колосники» и оттуда посмотрел на сцену с вышины пятидесяти футов. Я пробирался наверх между какими-то лестницами, маленькими платформами, канатами, блоками, брашпилями, газовыми трубками, пустыми газовыми резервуарами, пивными кружками, в темноте и в пыли. Затем я поднялся по другой лестнице, которая вела еще выше, и прошелся по узенькой доске, ведущей от одного конца сцены до другого, над густым лесом декораций.

Карабкаясь по «колосникам», я попал в декораторскую. Это было что-то вроде длинных и узких полатей, на вышине сорока футов от сцены. С одной стороны они были закрыты парусиной, — это была часть огромного щита, который проходил через декораторскую: он входил в потолок и выходил из пола. Этот парусинный щит, на котором была изображена известная декорация, подвешивался к крыше театра на блоках, так что его можно было поднять, или спустить по желанию, и каждая из его частей могла быть подана декоратору, который не двигался с места. Если мое объяснение покажется вам не довольно ясным, то сделайте вот что: возьмите чемодан вашей жены, — тот, который получше, (выберите такое время, когда ее не будет дома), оторвите от него крышку, поставьте чемодан на окно и прислоните его к шторе так, чтобы штора приходилась на том месте, где была крышка. Вот вам наглядный пример. Чемодан — это декораторская, а штора — декорация.

В декораторской было много света и водяных красок (последние разведены были в ведрах) и почти совсем не было мебели. Длинный деревянный некрашеный стол, сплошь

покрытый кистями и баночками с красками, тянулся почти — во всю длину комнаты. Квадратная шестифутовая мраморная доска, заменявшая декоратору палитру, лежала на полу, а около нее одна из кистей, которою он наводил небо. Эта кисть была величиною с ту метлу, которою чистят ковры.

Разглядев все это хорошенько, я вышел из мастерской и стал спускаться вниз. Немного пониже декораторской находилась гардеробная, хотя надо заметить, что в ней было не особенно много костюмов. Теперь костюмы берутся напрокат, по мере надобности, у костюмеров, магазины которых находятся недалеко от Ковент-Гардена и Дрюри-Лэна[2]; у них можно найти все, что угодно, за известную плату, понедельно. А прежде, как мне кажется, каждый театр имел свои собственные костюмы и сохранял их. Даже и в настоящее время у некоторых старомодных провинциальных театров есть гардероб, где можно найти все, что нужно; но такие театры составляют исключение и обыкновенно костюмов в запасе или совсем не держат, а если и держат, то очень немного. И здесь тоже было только несколько пар растянувшихся и мешковатых триковых панталон, с полдюжины заржавевших жестяных шлемов, в одном углу целая куча башмаков из буйволовой кожи — половина из них на правую, а половина на левую ногу — кому придется надевать, тот их и разбирай; несколько довольно красивых жилетов — красных и голубых с желтым отливом; в таких жилетах появляются на сцене йоркширцы, когда они приезжают в Лондон; черные плащи для тех актеров, которым понадобится скрываться, и полный костюм, шитый блестками. Таковы были главные костюмы и, надо заметить, все довольно поношенные.

Между двором и сценой находилась очень большая комната, в которой были собраны такие разнородные вещи, что я сначала счел ее за склад какого-нибудь товарищества, с которым театр ведет дело. Но это была только бутафорная, а предметы в ней находящиеся, бутафорские вещи или так называемые «подпоры», названные так, вероятно, потому, что они поддерживают пьесу[3]. Я перечислю некоторые из предметов, находившихся в этой комнате, по крайней мере, те из них, которые удалось мне запомнить. Здесь было очень большое количество жестяных кубков, закрашенных черною краскою, отступя только полдюйма от края, так чтобы они всегда имели вид почти полных. Из этих кубков пьют счастливые крестьяне и напиваются до бесчувственного состояния комики. Это такая посуда, которая пригодна для всех времен и народов. Благодаря этому предмету, природа (сценическая) соединяет всех людей на земном шаре. Эти кубки в употреблении как у эскимосов, так и у готтентотов. И

римские солдаты тоже, по-видимому, никогда не пили из другой посуды, и в то же время без нее французская революция утратила бы свою главную отличительную черту. Кроме этих обыкновенных кубков были еще золотые и серебряные, но эти последние употреблялись только на пышных пирах и при каких-нибудь важных самоубийствах.

Тут были также бутылки и стаканы, кувшины и графины, После этих необходимых принадлежностей для кутежей и разврата, было приятно посмотреть на хорошенький чайный сервиз, расставленный на подносе, и белую скатерть; эти предметы могли успокоить человека и напомнить ему о булочках и семейном счастье. Мебели было очень много: два стола, кровать, буфет, диван, стулья, — дюжина из них с высокими спинками для «залы в старом замке» и т. д., их делали так: к обыкновенным камышовым стульям приклеивали картонные спинки. Вследствие этого центр тяжести заключался у них в спинке, и при малейшем прикосновении они опрокидывались, так что в тех сценах, где они ставились, мы только и знали, что поднимали их, да старались поставить устойчивее. Я помню, что случилось, когда наш характерный комик вздумал в первый раз сесть на один из этих стульев. Это было на первом представлении. Он только что сказал что-то смешное и, сказав это, сел на стул, положил одну ногу на другую и откинулся назад со свойственною ему непринужденною грацией. Вслед за этим мы увидали только его ноги и ножки стула.

В числе других бутафорских вещей были: трон, который так и блестел от золоченой бумаги и лоснящегося коленкора; каминная решетка, в которую была напихана красная фольга; зеркало, сделанное из серебряной бумаги; связка тюремных ключей, ручные оковы, ножные цепи, утюги, карабины, щетки, штыки, заступы и ломы для разъяренной толпы народа, защищающей правое дело; глиняные трубки; кинжалы, сделанные из дерева; театральные палаши — эти последние не стоит описывать: они известны всем и каждому; бердыши, которые решительно нельзя ни с чем сравнить; подсвечники, один или два фунта коротеньких сальных свечей; корона, украшенная алмазами и рубинами — каждый камень был величиною с утиное яйцо; колыбель… пустая, — очень трогательное зрелище; ковры, котлы и горшки, носилки, повозка, пучок моркови, тележка торговца яблоками, знамена, нога баранины и грудной ребенок. Словом — все, что только могло понадобиться во дворце или на чердаке, на ферме или на поле битвы.

Я все ходил туда и сюда и, увидав на одной стороне сцены отверстие в полу, ощупью спустился вниз по лестнице в то

подземное царство, откуда выходят феи и куда уходят демоны. Но тут было совершенно темно, так что я ничего не мог разглядеть.

В этой области сильно пахло плесенью и на каждом шагу встречались какие-то замысловатые приспособления для того, чтобы человек мог ссадить себе на ногах кожу. Мне пришлось тут много раз споткнуться, и я был очень рад, когда, наконец, выбрался из этого места; я отложил дальнейшие исследования до следующего раза и не в темноте, а со свечой. Когда я вылез из подполья, то увидал, что труппа начала наконец собираться. По сцене расхаживал высокий мужчина с важным видом, и я ему поклонился. Это был режиссер, а потому, понятно, человек немножко угрюмый. Я, право, не знаю, отчего режиссеры бывают всегда угрюмы, но только это — факт.

Через несколько минут на сцену вбежал рысцой человечек небольшого роста, очень степенный на вид, который оказался нашим Первым комиком-буфф, и он был очень хорошим комиком, хотя по выражению его лица, не отличавшегося подвижностью, можно было подумать, что у него так же мало юмора, как у либреттиста оперы-буфф. За ним следовал «Отец семейства», который разговаривал грубым голосом с шедшим с ним рядом миловидным молодым человеком, у которого было амплуа jeune premier'a[4] и который играл эти роли в том случае, если их не исполнял сам антрепренер. Вскоре после этого пришла актриса — маленькая старушка очень странного вида, ходившая с палочкой и постоянно жаловавшаяся на ревматизм: она, как пришла на сцену, так и плюхнула на толстый конец покрытого мхом берега, и никакая сила не могла ее заставить подняться с места до тех пор, пока не пришло время расходиться по домам. Она была нашей «Старухой» и играла нежных матерей и комических старых дев. В свое время она играла всевозможные роли и даже теперь могла играть все, что угодно. Она могла бы взять, по вашему выбору, и роль Джульетты, и роль няньки Джульетты и сыграла бы обе роли одинаково хорошо. Она могла в десять минут так загримироваться Джульеттой, что вы, сидя в средних рядах кресел, сказали бы, что ей только двадцать лет.

Вслед за нею появился джентльмен («Гость») в пальто, обшитом мехом, лакированных сапогах, белых гамашах и зеленых лайковых перчатках цвета лаванды. В руках у него была трость с серебряным набалдашником, в левом глазу — монокль, во рту сигара (которую он, конечно, сейчас же и потушил, как только вошел на сцену), а в петлице маленький букетик. После я узнал, что он получал жалованья тридцать шиллингов в неделю. За ним пришли две актрисы (это не значило, что они имели относительно молодого человека какие-нибудь намерения, но

просто потому, что время было придти и им). Одна из них худая и бледная, с измученным лицом, что было заметно, несмотря на румяна, как будто бы это была не актриса, а какая-нибудь бедная, работавшая до упаду женщина с большой семьей на плечах и маленькими средствами. Другая красивая и полная, лет сорока или около того. Она была очень «приукрашена» — я говорю и о цвете лица, и о платье. Я не могу описать последнего, потому что никогда не умею рассказать, что надето на женщине. Мне представлялось только, что у нее торчит что-то со всех сторон, оттопыривается спереди, отдувается сзади, поднимается кверху на голове и тащится за ней по полу, так что она казалась вчетверо толще и больше ростом, чем была на самом деле. Так как все были очень рады ее видеть и приветствовали ее, как казалось, с нескрываемой радостью, то я, понятно, заключил из этого, что она должна быть воплощением всевозможных добродетелей. Впрочем, те заключения, которые говорились шепотом и которые удалось мне подслушать, не могли вполне подтвердить моего мнения, так что я совсем не знал, как согласить одно с другим до тех пор, пока не услыхал, что это жена антрепренера. Она была примадонной, и роли, которые она больше всего любила и в которых она жеманилась, это были роли юных героинь, а потом детей, которые умирают рано и прямо идут в рай.

К труппе, кроме этих лиц, принадлежали еще два очень старых актера, один толстяк средних лет, две недурные собою молодые девушки, которые обладали, по-видимому, неистощимым запасом шуток, потому что, разговаривая одна с другою, они прохохотали все утро; и, наконец, сам антрепренер, который пришел после всех и меньше всех других актеров интересовался репетицией. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания, хотя я нарочно становился на самые видные места, и я испытывал точно такое же чувство, какое испытывает новичок в школе.

Когда были все в сборе, то расшатанный стол перенесли на авансцену, прозвонил колокольчик и вслед за этим появился в первый раз маленький мальчик, которому были даны «роли» для раздачи их актерам. Вся пьеса была переписана, хотя она была хорошо известна труппе, так как каждому из актеров много раз приходилось играть в ней и прежде. Все роли были истрепаны и грязны, кроме одной, которая отличалась от всех остальных своею чистотою. Когда мальчик дошел до этой последней роли, то он был, по-видимому, в недоумении, так как не знал, кому она принадлежит; и вот он стал посреди сцены и громко выкрикнул написанную на ней фамилию; так как фамилия была моя и роль эта принадлежала мне, то я сразу вышел из мрака неизвестности,

которым был покрыт до сих пор, и перешел к противоположной крайности, что было едва ли приятнее.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Репетиция

Я поспешно раскрыл тетрадку, чтобы посмотреть, какая роль мне досталась. Я горел нетерпением приняться за ее изучение. Мне нужно было в одну неделю составить себе понятие о характере действующего лица, выучить слова и мимику, найти подходящие к роли жесты и выражения лица. Поэтому нельзя было терять времени. Я приведу здесь эту роль без всяких сокращений:

Джо Дженкс.
Действие I, явление I.
…… приходит домой.
Ужасная погода.
…… если он сделает.
Да. Да!
…… отступить.
(Вместе). Это он!
Упасть на землю в конце этой сцены.
Действие IV, явление II.
(Вперед с бунтовщиками).

Хотя я был полон надежд в это время, но никак не мог понять, какой успех могу я иметь в *подобной* роли. Мне казалось, что с моим талантом мне тут совершенно нечего делать. Такая роль годилась бы для самого заурядного актера. Но если они не хотят, чтобы я выказал свой талант, то от этого пострадают скорее они сами, нежели я. Я не буду ничего говорить, но, со своей стороны, сделаю все, что могу, и сыграю роль, насколько возможно, с чувством. По-настоящему, мне следовало бы гордиться этой ролью, так как я узнал потом, что она была написана антрепренером специально для меня. Это мне сообщил наш комик-буфф, который знал всю пьесу наизусть. Потом он прибавил в раздумье: «Надо сказать, что нашему патрону пришла в голову прекрасная мысль. Я всегда говорил, что первое действие нужно усилить».

Наконец, когда роли были розданы как актерам, так и актрисам, и приехал дирижер оркестра, то репетиция началась по-настоящему. Пьеса была одной из самых обыкновенных старинных мелодрам и оркестр должен был подготовиться, чтобы быть в состоянии аккомпанировать ей. Музыка играла один такт перед словами каждого актера, а другой после того, как он

переставал говорить; один такт перед тем, как он садился, а другой перед тем, как вставал; а если ему нужно было пройти через сцену, то она играла чуть ли не маленькую увертюру. Что же касается примадонны, то что бы она ни сказала — говорила ли она, напр., в первом действии, что от снега холодно, или ей представлялось в последнем действии, что она видит свою мать, после чего она умирала — всем ее словам и движениям предшествовал настоящий концерт. Я вполне убежден, что если бы в то время, когда она находилась на сцене, ей захотелось чихнуть, то оркестр сейчас же заиграл бы какую-нибудь веселую мелодию. После того как началась репетиция, я подумал, что это, должно быть, опера, и боялся, как бы не заставили меня пропеть мою роль.

Первая сцена происходила между старым трактирщиком, хозяином такого же старого трактира, как и он сам, несколькими деревенскими сплетниками и злодеем пьесы. Режиссер (который, понятно, исполнял роль злодея) стоял посредине сцены один, так как все остальные актеры отошли в сторону, и, стоя на этом месте, с рукописью в руке, он управлял ходом репетиции.

— Ну теперь, господа, — кричал он, — давайте начнем, Галлет, трактирщик, Биликинг и Дженкс (Дженкс — это был я) на авансцену, направо. Мое место здесь (это он сказал, пройдя подальше и стуча ногою на том месте, на котором ему следовало быть), я буду сидеть за столом. Когда поднимется занавес, мы все должны быть на своих местах. Вы (обращаясь ко мне: очевидно, ему насчет меня даны были инструкции) вы, м-р Л., будете сидеть на самом конце и курить трубку. Подавайте ваши реплики попроворнее и, пожалуйста, говорите громче, а то вас никто не услышит: здесь зала большая. Что вы нам сыграете для увертюры, м-р П. (я назову дирижера оркестра м-ром П.). Что-нибудь старинное английское, прежде чем мы загорланим, а? Спасибо вам, вот это и сыграйте — произведет большой эффект. Ну, так теперь мы начнем. Всю эту сцену, м-р П., pianissimo, до самого конца. Когда мы дойдем до конца, я вам скажу.

Тогда мы начали репетицию, причем читали из наших ролей далеко не все. Говорилось не все, что следовало сказать, кроме самых коротеньких фраз. Говорили громко только два или три последних слова, заключавших в себе реплики, но все остальное обыкновенно бормотали про себя, совсем пропускали, или вместо этого слышалось какое-то гуденье вроде «м-м-м» вперемежку с отрывочными фразами. Какая-нибудь довольно длинная сцена только между двумя или тремя действующими лицами совсем опускалась и исполнялась отдельно теми актерами, которые играли эти роли. Таким образом, между тем как главная

репетиция шла посредине сцены, отдельные репетиции исполнялись в одно время с нею где-нибудь совсем в стороне: двое актеров дрались на дуэли, причем оружием служили им трости; какой-нибудь отец обвинял сына и выгонял его из дома; или какой-нибудь блестящий кавалер в длинном клетчатом непромокаемом пальто объяснялся в любви прелестной молодой девице, в то время, как у нее на коленях сидел ее сын — мальчик лет семи.

Я ждал с нетерпением, когда наступит моя очередь подавать реплику, но так как я не знал, когда это нужно было сделать, то слишком поторопился и раза два или три подал ее невпопад. Наконец, когда действительно наступил мой черед, меня вывел из сомнения джентльмен, игравший роль трактирщика, — он дружески кивнул мне головой, и я произнес свое замечание о том, что на дворе ужасная погода и, как мне показалось самому, громко, ясно и отчетливо. Но так как, по-видимому, никто меня не слыхал и все ждали, то я повторил мое замечание, насколько мог, еще громче, яснее и отчетливее, после чего заговорил режиссер, который сказал мне:

— Ну что же, м-р Л., говорите же, мы вас ждем.

Я объяснил ему, что я уже сказал, на что он возразил мне: «О, это совсем не годится, вы должны говорить гораздо громче. Даже и *мы* не могли слышать вас здесь, на сцене. Кричите во все горло. Не забывайте, что здесь зала большая; теперь вы играете не в гостиной».

Я подумал, что если буду говорить громче, то сильно повредю этим себе, но мне стало жаль тех зрителей, которые сидят на галерее. Тот, кто никогда не пробовал говорить в обширном публичном здании, едва ли может представить себе, до какой степени слабым и ничтожным оказывается тот голос, которым мы ведем обыкновенные разговоры, даже и в том случае, если мы говорим очень громко. Чтобы ваш голос раздавался по всей зале вы должны, так сказать, *выбрасывать* его, вместо того, чтобы, раскрыв рот, выпускать его понемножку. Этому искусству не трудно научиться, и, научившись ему, вы будете в состоянии говорить так, что зрители услышат даже самый ваш шепот.

Мне посоветовали обратить на это особенное внимание, после чего мы пошли дальше. Конец этой сцены был очень шумный, и режиссер объяснил его следующим образом:

«Вы (трактирщик) поднесите мне фонарь прямо к лицу, когда будете говорить: «Это он!» Я вскакиваю, опрокидываю стол (стучит ногой, чтобы представить, что он опрокидывает стол). Я сшибаю вас с ног. Вы двое стараетесь схватить меня; я вырываюсь, опрокидываю вас и бегу через сцену (действительно бежит). Я

добегаю до двери, растворяю ее, останавливаюсь у двери и навожу на вас револьвер. Вы все должны присесть на пол.»

Мы все присели на корточки, изображая из себя сбитые кегли — хотя в этом случае была не полная игра — не девять кеглей, а только четыре, — и затем наклонили головы, чтобы показать, что мы припадаем к земле.

«Картина», — говорит одобрительно режиссер, — затем перемена декораций. Тут все время presto, м-р П. Помните, что вы не должны отставать от авансцены (следовательно «авансцена» означает заднюю часть сцены, а задняя часть сцены находится у рампы) и продолжайте так до самой перемены декорации. Какие у вас есть декорации для перемены? Есть у вас внутренность дома? Нам нужна внутренность коттеджа.

Эти последние фразы были сказаны театральному плотнику, который тащил по сцене какие-то плоскости для заднего плана.

Не пугайтесь, читатель; театральная плоскость означает декорацию. Другого рода плоскости на сцене не бывает.

— Я не знаю, — отвечал плотник. — Где это Джим? Джим!

Оказалось, что Джим вышел на минутку. Но он шел уже назад, утирая себе рот и, услыхав, что его кличут, страшно рассердился.

— Ну вот я, вот я, — говорил он с сердцем, идя по двору. — Чего вы так раскричались? Джим не умер. На кой черт он вам понадобился? Театр, что-ли горит? Сами то вы никогда не выходите что-ли?

Джим был старшим плотником и человеком чересчур неприятным и сварливым, даже и для театрального плотника. Если он не «выходил на минуточку», то непременно с кем-нибудь ссорился, так что никто не жаловался на то, что он часто отлучается, напротив, все даже радовались его отсутствию.

Он, как и вообще все театральные плотники, относился к актерам и актрисам с величайшим презрением, как к людям, которые всегда ему мешали и без которых пьеса могла бы быть сыграна гораздо лучше. Но главною его прелестью была его непроходимая глупость. Эта отличительная черта его характера выказывалась во всем блеске тогда, когда обсуждался вопрос, какие следовало ставить декорации.

В маленьких театрах новые декорации бывают большой редкостью. Когда на сцену ставится что-нибудь особенное и надеются, что пьеса будет дана много раз, то есть не будет снята с репертуара в продолжение целого месяца или шести недель, что случается не часто, то для нее, может быть, и напишут одну или две декорации, но, вообще, как-то больше держатся таких декораций, которые существуют уже много лет и которые немного

изменив и во многих местах подправив, выдают за «совершенно новые и великолепные декорации», как говорится об этом подробно в афишах. Само собою разумеется, что в этом случае приходится мириться с некоторыми несообразностями. Никто не будет в претензии, если вместо декорации, которая должна бы изображать библиотеку, поставят декорацию, представляющую каюту корабля из пьесы «Сара Джен», или гостиную назовут залой, где происходит пир. Тут именно этого и нужно ждать.

Что касается обстановки, то у нашего антрепренера был очень широкий взгляд. Он даже не стал бы и говорить о таких вещах. Когда он сам, по случаю своего бенефиса, играл *Гамлета*, то в пьесе не было других декораций, кроме одной «внутренности дома» и «сада»; он был актером в странствующей труппе, которая переезжала из одного города в другой с полным шекспировским репертуаром и только четырьмя переменами декораций; значит, он не мог быть особенно требовательным. Но даже и его Джим поражал своими понятиями о том, как следует обставлять пьесу. По понятию Джима, «Гэмстедская степь вдали, при лунном свете» — это были: или какой-нибудь тропический остров, или же задняя декорация из какой-нибудь старой сцены с превращениями; если же дело шло о каком-нибудь месте в Лондоне — все равно, что бы это ни было — Уайтчэпель или Сент-Джемсский парк, он всегда говорил, что нужно поставить очень похожую на действительность декорацию, изображающую Ватерлооский мост во время метели.

В настоящем случае, когда от него потребовали внутренность коттеджа, он спустил избушку, где над печкой были артистически развешены два охотничьих ножа и револьверы; для того, чтобы кто-нибудь не выразил сомнения, что едва ли эта декорация подойдет, он заговорил первый и начал уверять, что именно это и нужно, и ничего не может быть лучше. Когда ему стали говорить, что хотя деревянную избушку с охотничьими ножами и револьверами над печкой и можно встретить на каждом шагу в Австралии или в девственных лесах Америки, но такую избушку ни в каком случае нельзя найти в Англии — а предполагалось, что тот коттедж, который нужно было представить, находился на расстоянии нескольких миль от Лондона — то он счел, что будет совершенно бесполезно отвечать на такие речи и презрительно молчал. Но так как возражения не умолкали, то Джим пустил в ход свой главный аргумент, который он держал в запасе: он упомянул о прежнем антрепренере, который умер пятнадцать лет тому назад и о котором, кроме Джима, решительно никто не помнил. Оказалось, что этот джентльмен всегда употреблял декорацию, изображавшую избушку, вместо английских

коттеджей, и Джим полагал, что *он*-то (покойный антрепренер) знал, что нужно, даже если он (Джим) дурак. С последними словами Джима были согласны решительно все, а обсуждать вопрос, был ли прав антрепренер, было немножко поздно. Я могу сказать только одно, что если м-р Гаррис — так всегда называл Джим мифического антрепренера — действительно обставлял таким образом свои пьесы, то они должны были производить в высшей степени странное впечатление.

Никакая сила не могла заставить Джима показать что-нибудь другое в это утро, хотя антрепренер и напомнил ему, что декорация, изображающая внутренность коттеджа, была нарочно написана по заказу его предшественника.

Джим не знал, где теперь эта декорация. Кроме того одна из веревок была порвана, так что и тогда еще декорации нельзя было ставить. После этой небольшой стычки с неприятелем, он ушел и продолжал прежнюю перебранку с газовщиком, начав опять с того самого места, на котором он остановился двадцать минут тому назад.

Декораций и бутафорских вещей не потребовалось на этой первой репетиции, главною целью которой было согласить игру актеров с музыкой, определить, когда им входить и когда уходить и, вообще, заняться мимикой; но, конечно, было желательно узнать, по возможности, какие декорации годились в дело и не требовали ли они каких-нибудь изменений или исправлений.

Во второй сцене должна была появиться в первый раз примадонна, — это такое событие, возвещая о котором оркестр должен был употребить все старания. Нельзя же ей было выскочить сразу и появиться перед зрителями. Большая и внезапная радость бывает опасна. Их нужно приготовить к ней постепенно. Было употреблено большое старание для того, чтобы подготовить их к такому важному событию и чтобы она появилась именно тогда, когда следовало. Когда все это было вполне удовлетворительно устроено, то режиссер объявил ей, что ей следует говорить, Он сказал, что это выйдет так: «Пом-пом… пом-пом… пом-пом… пом… Пом… ПОМ»!

— Теперь ваша реплика, милочка.

На сцене всякий говоря с актрисой называет ее «милочкой». К этому скоро привыкаешь, особенно, когда актрисы молоденькие и хорошенькие.

— Откуда мне выходить? — спрашивает примадонна.

— Не могу сказать этого, милочка, до тех пор, пока не увижу декорации. Наверное, в ней будет дверь, и тогда вы можете выйти прямо.

Надо заметить, что актеры больше всего любят выходить

прямо. И некоторые артисты почти никогда не выходят иначе. Конечно, вы произведете лучшее впечатление на публику при вашем первом выходе, если вы явитесь к ней прямо лицом и так к ней и пойдете, нежели тогда, когда выйдете сбоку, а потом повернетесь. Но иногда актеры злоупотребляют этими выходами прямо, и для того, чтобы удовлетворить тщеславию какого-нибудь актера, декорация принимает неестественный и ни с чем несообразный вид.

Я закончу свой рассказ об этой репетиции тем, что приведу слово в слово небольшую ее часть, а именно четвертое явление первого действия. Вот что происходит на сцене:

Режиссер стоит посредине сцены, спиною к рампе. За ним, очень близко к нему, сидит на высоком стуле **Дирижер оркестра**, один, изображая своею скрипкой целый оркестр. По сторонам две или три группы артистов, которые болтают между собою. **Отец семейства** ходит взад и вперед в глубине сцены, он учит вполголоса свою роль и по временам останавливается, чтобы присоединить к словам и жесты.

Комик-буфф и **Гость** ходят по сцене вдвоем, на левой стороне, у 3-й кулисы. **Поющая служанка** кокетничает с **Первыми Любовниками** (только с одним из них), направо, у 2-й кулисы. Сзади них **Бутафор** делает пирог с начинкой из обрывка старой парусины и горсти стружек. **Два плотника** в белых куртках бегают по сцене с молотками в руках; глаза у них бедовые, и они так и высматривают нет ли где какого-нибудь предлога для того, чтобы постучать. **Рассыльный мальчик** суется туда и сюда и всем мешает, хотя его не дозовешься, когда он понадобится.

Наш Первый Старик *(стоит вправо от центра и читает свою роль через огромные очки)*. «М-м — ветер свищет-м-м-м-такая же ночь, как теперь, пятнадцать лет тому назад — м-милый ребенок — м-м-м — украден — м-м-м — детский лепет — м — ушей — м-м — неужели я никогда не услышу его голоса?»

Он поднимает глаза и, видя, что никому нет решительно никакого дела до того, услышит он этот голос или нет, повторяет тот же вопрос громче.

Режиссер *(строгим тоном, так как это был такой вопрос, на который действительно следовало отвечать)*. «Неужели я никогда не услышу его голоса?»

О, тут музыкальная реплика, м-р П. Записали вы это? Мисс *** (сценическое имя жены антрепренера) поет в этом месте песню за сценой.

М-р П. Нет, я сейчас запишу. Как это?.. «не услышу его голоса» *(записывает на одном из обрывков бумаги, которые*

валяются перед ним на сцене). А вы выбрали что петь?

Режиссер О, здесь нужно что-нибудь жалобное. Все равно, что бы ни петь, только бы разжалобить публику. Что вы хотите взять, милочка?

Жена антрепренера *(которая только что кончила бутылку вина вдвоем с другой актрисой)*. О, старую песню, знаете ли: «Мой милый дом, мой дом родной».

Первый Любовник *(шепотом комику)*. Как, *она* будет *петь*?

Комик. Да, ведь она всегда поет.

Первый Любовник. Ах, ты…!

Жена антрепренера поет под аккомпанемент скрипки первую строфу песни: «Мой милый дом, мой дом родной».

Первый Старик. «Ах, этот голос — м-м — он напоминает мне прошлое — м-м-м — бездомный странник осушиться *(идет через сцену и отворяет воображаемую дверь)*. Бедный ребенок — м-м-м — я старик — м — жены нет дома — вернется и — м — бесприютная сирота.»

Жена антрепренера. Будет ли тут бенгальский огонь?

Первая Старуха *(про себя)*. О, да осветите вы ее бенгальским огнем! Ей хочется распустить себе косу.

Режиссер. Разумеется, милочка. Вот в этом углу будет печка, а в ней красный бенгальский огонь.

Жена антрепренера. Ну, вот это хорошо. Я хотела только знать. Как это там было… «бесприютная сирота». О, тут у меня идет длинный монолог, знаете ли: «Я видела это прежде во сне… играла здесь, когда была ребенком».

Первый Старик. «Милое дитя — как странно, твое лицо напоминает мне о — м-м-м — была твоих же лет.»

Режиссер *(перебивая)*. Тут все время надо играть медленно.

Первый Старик *(продолжая)*. «Никогда, после этой ночи — м — золотистые — не думаю, чтобы она умерла.»

Дирижер пиликает на скрипке, затем пауза, во время которой является на сцену **Первая старуха**.

Первая Старуха *(не двигаясь с места и подавая реплику так неожиданно, что все вздрагивают)*. «Прижать тебя к груди моей.»

Жена антрепренера. «Матушка!» — Что, опять — ревматизм?

Первая Старуха. Опять! Да он и не думал проходить, черт его дери! — «Дитя мое!»

Дирижер пиликает из всех сил на скрипке.

Первый Старик. Где я должен быть?

Режиссер. Налево, в глубине сцены.

Жена антрепренера. Мы обнимаемся влево от центра. «Слышен стук в дверь.»

Режиссер *(проходя по сцене)*. «Это я»[5]. Обнимайтесь подольше: это картина. Вы и миссис *** будете стоять тут и обниматься, а старичок будет стоять там, в углу, когда я отворю дверь. Для этой сцены потребуется дождь и ветер, запомните это.

Бегающий по сцене плотник *(во все горло)*. Джим! В последней сцене первого действия дождь и ветер.

С колосников слышится хриплый и притом сердитый голос, выражающий искреннее желание, чтобы все убирались к черту.

Режиссер *(который всегда читал свои монологи, ничего не пропуская и таким тоном, как будто бы он повторял таблицу умножения)*. «Меня преследуют. Моя жизнь в опасности. Спрячьте меня от этих людей, которые следуют за мной по пятам. Чу! Вот они. Слава Богу, они пробежали мимо. Я спасен. А, кто это такое здесь? Черт возьми, какое счастье выпало мне нынче ночью. Сэр Генри поблагодарит меня за то, что я возвращу ему эту заблудшую овечку. Пойдем со мной, маленькая беглянка», — Тут, сопротивление. — «Нет, не сопротивляйся мне, а то всем будет худо». Я вас схватываю. Мы боремся. «Пойдем же, говорю, со мною. Пойдем, говорю».

Первая Старуха. «Умри!»

Скрипка пиликает.

Режиссер *(подождав с минуту, громко)*. Умри!

Первый Старик. Прошу извинения. Я не слыхал *(ищет в своей роли и не может найти того места, которое ему нужно)*.

Жена антрепренера. Ему бы следовало носить с собой слуховой рожок.

Первый Старик. «М-м-м — Бог даст мне силу — м — могу нанести удар.» *(Замахивается тростью на режиссера)*.

Слышен страшный стук молотков в глубине сцены; все актеры труппы, громко выражают свое неудовольствие, за исключением **Первого Старика**, который не слышит этого стука и преспокойно продолжает репетицию один.

Режиссер *(в ярости)*. Перестаньте стучать! Перестаньте стучать, говорю!

Стук продолжается.

Джим *(который только того и ждет, чтобы с кем-нибудь поссориться)*. А как же это нам работать без стука, желал бы я знать?

Режиссер *(с неудовольствием)*. Разве вы не можете работать в другое время?

Джим *(с сердцем)*. Нет, мы не можем работать в другое время! Что же вы думаете, что мы будем сидеть тут всю ночь!

Режиссер *(кротко)*. Но, любезный мой, как же нам, при таком стуке, продолжать репетицию?

Джим *(в ярости)*. Я знать не хочу ни вас, ни вашей репетиции! Это меня совсем не касается! Я делаю свое дело; я занимаюсь не чужим делом! Мне нечего указывать, как мне работать!

В продолжение следующих десяти минут его красноречие льется бурным потоком и во все это время стук молотков не прекращается. **Режиссер** сознает свое бессилие и репетиция оканчивается. После этого поток красноречия у **Джима** иссякает.

Жена антрепренера *(уже после окончания репетиции)*. А что, не прорепетировать ли нам опять эту последнюю сцену, только позы?

После этого проходят еще две или три минуты, затем **Режиссер** говорит:

— Мы все втроем боремся и направляемся к двери. — «Отойди, старик! Я не хочу сделать тебе вреда!» — Я вас отталкиваю. — «Отойди, или я тебя убью»! — Это надо сыграть хорошенько. — «Кто смеет удержать меня»? *(Обращаясь к комику-буфф)* — Тут будет в музыке пауза, и вы должны выйти на сцену. Вы знаете мимику.

Комик *(выступая вперед)*. «Конечно, я, и я это сделаю» *(говорит ирландским наречием)*.

Скрипка пиликает.

Режиссер. Ну, потом мы боремся. *(Режиссер и комик берут друг друга за плечо и вертятся)*. У меня будет книжка в кармане с левой стороны.

Комик. «Ах, черт возьми, его и след простыл; да ну, провались он, я нашел вот что, *(делает вид, что поднимает с полу воображаемую записную книжку)*, а это гораздо дороже его самого.»

Режиссер. Конец первого действия. Томми, поди, принеси мне полпинты портера.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Декорации и статисты

Для этой пьесы у нас было пять репетиций.

— На кой черт им нужно столько репетиций? — заметила с неудовольствием Первая Старуха. — Эту пьесу не столько раз будут играть, сколько репетировать.

Мне же в то время казалось, что пять репетиций это слишком мало, в особенности, когда я вспомнил, что у нас в любительских спектаклях для какого-нибудь коротенького фарса бывало около тридцати репетиций, и почти все репетиции были в костюмах; но, наконец, наступило такое время, когда я стал считать и две репетиции необыкновенно старательной подготовкой к игре. Мне известно, что в провинции бывали такие случаи, когда какая-нибудь комедия в трех действиях ставилась на сцену вовсе без репетиции и половина актеров даже и совсем не знала ролей. Насчет «мимики» мы советовались шепотом во время самого хода пьесы, а когда мы совсем становились в тупик, то тот или другой из актеров уходил за кулисы и заглядывал в книгу. Что касается суфлера, то он после тщетных усилий удерживать актеров в первом действии и убедить героя не объясняться в любви совсем не той девушке, какой следовало, приходил к заключению, что он только мешает действующим лицам, а потому совсем уходил и, стоя у двери, ведущей на сцену, преспокойно покуривал трубочку и тем избавлял себя от дальнейших хлопот.

С каждой новой репетицией пьеса принимала более приличный вид. На четвертую репетицию запрещено было приносить тетрадки, так как предполагалось, что каждый актер знает свою роль «в совершенстве». По этому случаю пьеса игралась прямо, без всяких пропусков, и оркестр присутствовал в полном составе (две скрипки, виолончель, корнет-а-пистон и барабан). Для последней репетиции потребовались бутафорские вещи и декорации. Само собою разумеется, что нам пришлось ссориться с Джимом из-за декораций, Он поссорился решительно со всеми, и это доставило ему большое наслаждение.

Тут я в первый раз увидел нашего декоратора. Он был живой, маленький ростом человечек и так же способен на всякие хитрые выдумки, как Марк Тэпли. Ему все было нипочем. Если к представлению на следующий день нужно было приготовить залу судебных заседаний, и у него не было ничего подходящего к этому, кроме общей залы в кабаке, то он нисколько этим не смущался. Он приказывал спустить в декораторскую общую залу в

кабаке, подкрашивал немножко тут, подкрашивал немножко там, трогал кистью в другом месте, — и вот перед вами являлась зала судебных заседаний! Ему вполне достаточно было полчаса для того, чтобы превратить луг в кладбище, или тюрьму в спальню.

Но в настоящем случае он не давал именно того, что было нам нужно — это коттеджей. Все добродетельные люди в пьесе жили в коттеджах. Я в жизнь свою не видал такого спроса на коттеджи. Было пропасть других помещений, в которых они могли бы отлично поместиться: замки, дворцы и тюрьмы, салон-каюта на пароходе, гостиная в доме № 200, в Бельгравия-сквере (действительно великолепное помещение, где на камине стояли часы). Но нет, все они непременно хотели жить в коттеджах. Конечно, не стоило изменять три или четыре различных декорации и обращать их в коттеджи, и тем более, что они, по всей вероятности, могли понадобиться через неделю в какой-нибудь другой пьесе; и таким образом нам нужно было приспособить внутренность одного коттеджа к четырем различным семействам. Но, из приличия, мы всякий раз называли эту декорацию по-разному. С круглым столом и с одной свечкой, это был коттедж вдовы. С двумя свечками и ружьем, это был дом кузнеца. Если в нем, вместо круглого, ставился четырехугольный стол, то это был «дом отца Соломона, на дороге, ведущей в Лондон», — «Мой милый дом, мой дом родной!» Если в углу стояла лопата, а за дверью висело верхнее платье, то это была старая мельница в Йоркширских степях.

Но, впрочем, это ни к чему не повело. Когда, на первом представлении, декорация эта была поставлена во второй раз, то в публике раздались крики, которые показывали, что она ее узнала и смеется над этим. Публика из местностей, прилегающих к Сэррею, обыкновенно бывает в веселом настроении в субботу вечером, и если ей не кажется смешным то, что происходит на сцене, то она пробавляется и собственными средствами. И когда ту же самую декорацию поставили еще раз или два, то галерея уже до того пристрастилась к ней, что если проходили хотя бы две сцены без этой декорации, то многие кричали и с беспокойством спрашивали, куда она девалась, выражая при этом надежду, что с ней не случилось ничего особенного. Когда же она появилась в следующем действии (под совершенно другим названием), то весь театр встретил ее громкими рукоплесканиями и раздался какой-то торжествующий голос, который спрашивал: «Кто сказал, что ее потеряли?»

Статисты были введены в пьесу, или «пришли на работу», как они выразились бы сами, только на последней репетиции. Они были набраны из двух совершенно различных классов общества.

Почти половину их составляли солдаты, нанятые для того, чтобы изображать в драме войско; между тем как другая половина, которая должна была представлять собою отчаянных бунтовщиков, была набрана из людей среднего класса, живущих недалеко от Нью-Кета.

Солдаты, которые пришли в театр под командой унтер-офицера, были самыми лучшими актерами в пьесе. Они делали похожими на действительность те сцены, в которых появлялись. Они были настоящими солдатами и исполняли свое дело на сцене с такою точностью, какую выказали бы и на том месте, где производится ученье, и так серьезно, как стали бы проделывать все это и на самом деле. Когда им дан был приказ ударить «в штыки», то они исполнили его с такою ужасною решимостью, что уже не нужно было учить театральный народ, чтобы он показывал вид, будто испугался и бросался врассыпную за кулисы. Скорым шагом они шли нога в ногу. На репетиции с солдатами не было ровно никаких хлопот — не нужно было браниться, благодаря чему сберегалось много времени. Режиссер только говорил унтер-офицеру, что от них требуется. Этот начальник, обладавший грубым голосом, передавал солдатам приказание (он сначала переводил его на свой непонятный язык) и они немедленно его исполняли.

Несомненно, что для того, чтобы изображать солдат на сцене, нужно брать настоящих солдат, но они совсем не годятся для других ролей. Они будут похожи на солдат и во всем другом. Вы можете одеть их в какой угодно костюм и назвать их, как только пожелаете, но, несмотря на это, они все-таки останутся солдатами. Как-то раз наш антрепренер вздумал заставить их представлять чернь. Их усердно учили тому, как они должны вести себя. Им сказали, что они должны броситься в беспорядке, с неистовым криком, и при этом кричать не дружно, а как ни попало; что они должны собраться толпою в глубине сцены и что, стоя тут, толпа эта должна отхлынуть назад и потом двинуться вперед, изображая собою как бы прилив и отлив бурного моря, потрясать своим оружием и бросать грозные взгляды на стоящих перед ними жалких представителей законного порядка вещей; и, наконец, их подавленный ропот должен превратиться в рев дикой ненависти, они должны броситься на находящуюся перед ними стальную стену, смять ее и проложить себе путь, подобно тому как сдерживаемые какой-нибудь преградой воды наконец вырываются и сносят какой-нибудь небольшой, лежащий на пути предмет.

Но все это было хорошо в теории. Так действительно должна была бы вести себя театральная чернь. Но всем хорошо известно,

как она ведет себя на самом деле. Она выбегает на сцену рысцой и каждый человек толкает в спину того, кто идет перед ним. Они выстраиваются по сцене в шеренгу и каждый из них улыбается. Когда дан будет сигнал к нападению, то каждый человек — все еще с улыбкой на лице — подбегает к ближайшему солдату и кладет руку на его ружье, затем оба человека начинают медленно качать смертоносное оружие, точно ручку от насоса. И они делают это долгое время; но, наконец, с солдатом делается удар — другого объяснения тут не подыщешь, потому что видимой причины нет никакой — он вдруг ослабевает, а победоносный бунтовщик отнимает у него ружье, с которым не умеет справиться. Это очень забавно, но наши солдаты были в этом случае еще забавнее. Это все равно как если бы заставили членов современной Палаты Общин представить из себя буйную чернь. Солдаты были прямо не в состоянии сделать этого. Они вышли на сцену скорым шагом, выстроившись в шеренгу, затем образовали посреди сцены правильное каре, пустое в средине, и, по команде унтер-офицера, три раза прокричали «ура». Таково было их понятие о черни.

Статисты другого рода, нанимаемые за безделицу (они иногда получают только восемнадцать пенсов) на одно представление, отличались совсем другим характером. Статисты по профессии — самые жалкие люди, каких только можно встретить на белом свете. Сравнительно с ними даже люди, носящие на себе объявления по улицам, покажутся разговорчивыми и шутливыми. И те, которых нанимали в нашем театре, не составляли исключения из общего правила. Они ото всех сторонились, составляли из себя отдельную маленькую группу и являлись олицетворением такого ужасного уныния, что даже самое их присутствие нагоняло тоску на всех остальных актеров. Странно, что люди, получающие шесть шиллингов в неделю, не могут быть веселы и довольны, но это — факт.

Но один из них составлял исключение — это был никому не делавший вреда идиот, который известен был под именем «сумасшедшего Мэта», хотя он сам всегда величал себя «М-р Мэтью Александр Сент-Джорж Клемент».

Этот бедняк был очень долго статистом, хотя, по-видимому, было и такое время, когда он играл в жизни совсем другую роль. Его исхудалое лицо ясно говорило о том, что он — джентльмен, и когда у него не было припадков сумасшествия, то он оказывался человеком мыслящим и образованным. Ходили слухи, что он выступил на сцену в ранней молодости и был талантливым и подающим большие надежды актером, но никто не знал, от чего он помешался. Разумеется, дамы приписывали это любви: у

прекрасного пола это idee fixe, что все, что бы ни случилось с мужчинами, начиная с того, что они очутятся в сапогах на постели, и кончая безденежьем, происходит от этой нежной страсти. С другой стороны, люди недоброжелательные — а их было большинство — говорили, что он помешался от пьянства. Но все это были только предположения, и никто не знал настоящей причины. Было потеряно связующее звено между прологом и пьесой. Сам Мэт был вполне убежден, что он — великий актер и не может играть главных ролей только благодаря зависти собратьев по профессии. Но это время, наконец, придет, и тогда он нам покажет на что он способен. Больше всего ему хотелось сыграть роль Ромео. И он был намерен в скором времени выступить в этой роли. Он изучал ее уже много лет, как однажды он сообщил мне это по секрету, и когда появится в ней, то, наверно, будет иметь громадный успех.

Надо заметить — хотя это может показаться и странным — что его сумасшествие нисколько не мешало ему делать все то, что требовалось от статиста. Он был очень понятлив на сцене, исполнял все то, что делали другие статисты, и напускал на себя комическую и вместе с тем трогательную важность только за кулисами; тут, если старший над статистами осмеливался сказать ему, что нужно делать, то он отвешивал ему церемонный поклон и замечал с какой-то надменностью, что м-р Сент-Джорж Клемент не привык к тому, чтобы его учили, как следует играть свою роль. Он никогда не сообщался со своими собратьями, но держался в стороне, тихо разговаривал сам с собою и как будто всматривался во что-то такое, что виделось ему вдали. Он был посмешищем всего театра, и нас очень забавляли его наполовину скромные и наполовину напыщенные манеры, но иногда на бледном лице Мэта появлялось такое грустное выражение, что хотелось скорее плакать нежели смеяться.

Его странная фигура и таинственная история не выходили у меня из ума и внушали мне самые тревожные мысли. Я думал о том времени, когда эти бедные, бессмысленные глаза смотрели на Божий мир с надеждой, когда в них отражались честолюбивые замыслы, и тут я спрашивал себя, неужели же и я сделаюсь таким же безобидным идиотом, воображающим, что он великий актер.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Костюмы

У нас не было ни одной репетиции в костюмах. Я помню за все это время, пока я был актером, только одну репетицию в костюмах. Это было для пантомимы в провинции. Для этой репетиции была прислана вовремя только половина костюмов. Я явился на нее в стальном нагруднике, шлеме и клетчатых панталонах; помню, что еще какой-то другой актер — кажется тот, который играл короля Островов Людоедов — расхаживал по сцене в трико с блестками и в сюртуке. Это было, так сказать, что-то недоконченное.

Конечно, старые, привыкшие к сцене, актеры могут обойтись и без костюмов, но новичок чувствует себя как-то неловко, когда ему от репетиций в своем платье приходится прямо перейти к представлению. Он объяснялся в любви бледной, пожилой даме, одетой в черное гренадиновое платье и жакетку на тюленьем меху, и совершенно растеряется, когда увидит, что ему улыбается румяная молодая особа, почти девочка, в голубых шелковых чулках и коротеньком платьице. Он не находит никакого сходства между совсем не страшным, добродушным толстяком, м-ром Джонс, и грубым дикарем, с нахмуренными бровями, похожим не то на Билля Сайкс, не то на римского гладиатора и с которым он знакомится в первый раз на сцене, во время представления. А кроме того, он не уверен, что схватил именно того человека, какой ему нужен.

Я, по своей наивности, был вполне убежден, что у нас будет, по крайней мере, одна репетиция в костюмах; но дни шли за днями, а об этом никто и не заикнулся, так что я сам заговорил о костюмах для того, чтобы об этом как-нибудь не позабыли. Но меня подняли на смех, удивляясь, как только могла прийти мне в голову подобная мысль. На это посмотрели как на фантазию романтика-мечтателя.

— Никогда не говорите о репетиции в костюмах, милый мальчик, — было сказано мне в ответ. — Скажите: «Слава Богу», если получите вовремя костюм для представления.

Нужно заметить, что выражение «милый мальчик» вовсе не означало, чтобы говорящий действительно считал меня мальчиком. А так как мне в это время было уже восемнадцать лет, то, как видите, он едва ли считал меня мальчиком. Всякого актера называют «милый мальчик», точно так же, как и всякую актрису — «милочкой», о чем я уже упоминал и раньше. Сначала

это казалось мне немножко обидным, но когда я увидал, что так же фамильярно и бесцеремонно обращаются с поседевшими знаменитостями, с почтенными женатыми актерами, исполняющими главные роли, то ко мне вернулось чувство собственного достоинства. Хорошо, что у нас чувство собственного достоинства не опадает так быстро, как дутый пирог, а иначе, пожив немного на свете, мы бы его совершенно утратили.

Разумеется, никто из актеров — по крайней мере, никто из мужчин, за исключением «Шашек» — нисколько не заботился о том, какой придется ему надеть на себя костюм. Мы прозвали «Шашками» нашего «Гостя», — это был тонкий намек на его клетчатое пальто. Мне кажется, что я уже раньше описывал в общих чертах тот костюм, который этот молодой человек носил вне сцены. Он всегда поднимал споры из-за костюма и ставил на своем. Теперь он непременно хотел играть в пьесе в своем новом пальто; он это и сделал; но так как предполагалось, что действие в пьесе происходило сто лет тому назад, то нельзя сказать, чтобы этот костюм был верен истории. Впрочем, наша труппа не обращала внимания на историческую точность; она больше держалась того правила, что актер должен выходить на сцену в том, что у него есть. В настоящее время в лучших лондонских театрах дирекция поставляет все до самой малости, так что актеру остается только одеться в тот костюм, который ему дают. Но в тех театрах, в которых я играл, и в труппах, к которым я принадлежал, дело обстояло совсем иначе: всякий актер мог выбрать себе какой угодно костюм. Что касается ролей, которые нужно было играть в обыкновенной современной одежде, то мы должны были одеваться с головы до ног в свое собственное платье, и во всех пьесах без исключения мы обязаны были сами позаботиться об исподнем платье и обуви, то есть я хочу сказать о таких вещах, как трико, чулки, сапоги и башмаки всех времен и народов; остальные части костюма полагались нам от театра, — по крайней мере, так было в Лондоне.

В провинции же, где сам актер должен был позаботиться решительно обо всем, что необходимо, как для классической трагедии, так и для пантомимы, мне иногда приходилось видать замечательно-эффектное смешение костюмов. В этом случае костюмы в пьесе не уступали в разнообразии тем, которые мы видим на каком-нибудь костюмированном балу. Если у отца, принадлежащего ко времени Георга III, оказывался такой сын, который, судя по костюму, был в цветущих годах в царствование Карла II, то это совсем не считалось странным. Что касается статистов, если только они играли в пьесе, то эти последние были

одеты во что ни попало и всегда выходили на сцену в своих собственных сапогах.

Большое внимание обращалось на то, чтобы костюм был живописный. Даже и по сие время в некоторых из больших лондонских театров предпочитается костюм не столько сообразный с эпохой и со здравым смыслом, сколько живописный. На сцене еще до сих пор существует тенденция считать всех женщин-иностранок итальянками — крестьянскими девушками и предполагать, что все земледельцы носят красные, с желтой вышивкой, жилеты.

Даже и в том случае, когда костюмы давались от театра, актеры, игравшие главные роли, и те, у которых был собственный хороший гардероб, обыкновенно предпочитали играть свою роль в собственном платье, и не было ни одного актера, который так или иначе не дополнял бы идеи костюмера и не прибавлял бы чего-нибудь к своему костюму, или не отменял бы лишнего.

Я говорю только о мужчинах. У актрис бывают почти всегда собственные платья. Что касается этих последних, то, право, им совсем не нужно слишком большое разнообразие в костюмах, потому что, несмотря на все, что говорится о женских модах, современное женское платье ничем не отличается от того, какое носили во времена жены Ноя — по крайней мере, мне так кажется на основании того, что я видел в своем собственном ковчеге. Я уверен, что то платье, которое было на мисс Истлэк, когда она играла в «Серебряном Короле», очень бы годилось и для Офелии; а какая разница между королевой Елизаветой и миссис Боунсер? Решительно никакой, кроме воротника и рукавов, а изменить фасон рукавов и сделать брыжи совсем не трудно. И для чего это у актрис так много платьев! Что касается фасона, то одно и то же платье, с небольшими изменениями, может пригодиться для всякой роли. Можно пришить к нему шлейф, или нашить на него оборку, или же убавить его, — вот вам и готово.

Но, может быть, я и ошибаюсь.

Нам было сказано, чтобы мы в течение недели побывали у костюмера для того, чтобы он мог снять с нас мерку, и те из нас, которые не имели понятия о театральных костюмерах, так и сделали и вернулись в полной уверенности, что он пришлет костюмы, которые будут нам впору. Но большинство актеров не захотело разыгрывать этой комедии: они в день первого представления преспокойно надели тот костюм, который нашли у себя в уборной, и или с трудом напялили его на себя, или же подложили ваты, если это было необходимо.

Уборные (два ряда деревянных сарайчиков, отделявшиеся узким коридором) находились над бутафорной; чтобы попасть в

них, нужно было подняться по лестнице, по которой всякий поднимался и спускался с большой осторожностью: ему так и казалось всякий раз, что она отвалится прежде, чем он дойдет до уборной или спустится вниз. Эти комнаты были с большим старанием приготовлены для нашего приема. Самые большие щели в перегородках были заткнуты оберточной бумагой, а стены и потолок выбелены с таким усердием, которое показывало, что тут не жалели издержек; но не прошло и недели, как уже весь мел перешел на наши костюмы, так что в этом случае антрепренер потратился понапрасну. Говорили даже, что одну из комнат обметали, но сам я не видал, чтобы это делали ни тогда, ни в другое время, и скорее думаю, что этот слух был распущен нарочно для того, чтобы выпытать мнение поденщицы. Если это так, то расчет оказался неверным. Услышав такие слова, она ничего не ответила, но приняла обиженный вид, очевидно, считая это таким предметом, о котором нельзя было говорить с дамой.

Может быть, только каких-нибудь две двери и висели на петлях, так что, приспособившись к ним немножко, их можно было отворять и затворять; но, в большинстве случаев, они были сорваны и стояли прислоненные к косякам, точно пьяные кутилы, привезенные домой извозчиком, Поэтому оставалось только одно средство — войти в уборную, или выйти из нее — это оттащить дверь на себе. Любопытно было посмотреть, как какой-нибудь толстый, страдающий одышкой актер тащит, бывало, шатаясь, по коридору одну из этих больших дверей и старается приставить ее к стене. После многих ужасных усилий он обыкновенно загораживал ею коридор от стены до стены, и в эту самую минуту непременно какой-нибудь актер опрометью взбегал наверх, страшно торопясь попасть в свою уборную. Он, конечно, не мог пройти, пока эта несчастная дверь находилась в таком положении, и, желая поскорее сделать это, он брался за нее с другой стороны и начинал ее дергать. Первый актер, не будучи в состоянии видеть, отчего это происходит и думая, что кто-нибудь над ним потешается, тянул дверь к себе еще отчаяннее, чем прежде, и ронял ее, причем она отшибала второму ноги. Затем они принимались отчаянно тянуть ее каждый к себе, один с одной стороны, а другой с противоположной; они ушибали ею один другому голову, придавливали ею один другого к стенам коридора, и кончалось тем, что оба они сваливались на пол вместе с дверью, и в этой куче они лежали внизу, а дверь наверху.

Хотя актерам давалась самая простая мебель, но при этом было видно, что заботились подобрать все вещи так, чтобы они были одна в pendant к другой: она состояла из нескольких поломанных стульев. Число предметов, необходимых для туалета,

было также довольно ограниченное, но зато при распределении их выказывалась большая заботливость и сообразительность. Так как не хватало тазов и кувшинов для всех уборных, то их разделяли. В иной уборной был кувшин, но без таза, тогда как в других были одни тазы без кувшинов; и то, и другое могло служить прекрасным предлогом для того, чтобы оставлять их без воды. Там же, где не было ни таза, ни кувшина, вы могли рассчитывать на то, что у вас непременно будет мыльница. Нам давались полотенца, причем отпускалось одно полотенце на две недели — коротенькое, тоненькое, с большой дырой посредине и с шестью другими поменьше, но мыло мы приносили свое; по крайней мере, это делали некоторые из нас, а другие без зазрения совести сейчас же присваивали его себе.

Одна из уборных была обставлена лучше, чем другие, так как ее обладатель мог похвастаться умывальником, сделанным из старого камышового стула без спинки и без одной из ножек. Этот предмет роскоши возбудил сначала большую зависть в тех актерах, в уборных которых не было таких удобств, но так как умывальник обладал способностью совершенно неожиданно опрокидываться, то чувство зависти скоро уменьшилось. Даже сами обладатели его перестали, через несколько времени, гордиться им, и как-то раз jeune premier, в припадке ярости, разбил его в дребезги: умывальник, насколько мы могли понять из его бессвязных проклятий, был причиною того, что он принужден был доигрывать пьесу в трико, с которого ручьями лила вода.

Во время представления ходил по этим уборным какой-то подслеповатый человек. Он называл себя гримером, хотя, если он когда-нибудь и занимался гримировкой, то ее можно скорее назвать стряпней, а не гримировкой. Раз ему намяли бока за то, что он опрокинул банку с румянами на ужин Джима; насколько мне известно, это была единственная гримировка, или стряпня, в которой он принимал участие. Но, несмотря на это, он приходил в театр с тем, чтобы поскорее уйти и сесть за ужин, состоявший из бараньей головы и портера.

Но хотя уборные немножко и удивляли меня, я не могу сказать, чтобы они меня разочаровали. Я ничего от них не ждал. Они не являлись мне в моих мечтах. Мои глаза не жаждали увидать их воображаемое великолепие. Я примирился с уборными; но что меня повергло в отчаяние, — так это фойе. На фойе сосредоточились самые светлые мои надежды. Здесь я надеялся ухаживать за красавицами и разговаривать с умными людьми. Я представлял его себе ярко освещенной и обширной комнатой, со скользким паркетом, устланным дорогими коврами,

со стенами с позолотой, увешанными драгоценнейшими произведениями искусства, и высоким расписным потолком. Тут должна быть роскошная мягкая мебель — кресла и диваны, на которых мы, артисты, стали бы отдыхать от наших трудов; пианино, из которого прекрасные пальчики извлекали бы чудные мелодии, в то время, как я перевертывал бы ноты; этажерки с резьбою, уставленные старинным фарфором и другими редкими и дорогими безделушками. Тяжелые портьеры заглушали бы внешний шум, который был бы тут едва слышен и смешивался бы с глухим гулом веселых разговоров в самом фойе, что производило бы приятное впечатление; а ярко горящие люстры с дрожащими огоньками обливали бы светом мебель из испанского красного дерева и, блестя, отражались бы во многих зеркалах, украшающих все стены; это придавало бы уютный вид зале, которая иначе могла бы ослепить своим великолепием.

Фойе совсем не было. В тех театрах, где я играл, никогда не было фойе. Если я и видел фойе, то разве только в какой-нибудь пьесе, хотя я всегда искал его. Я встретил однажды одного старого актера, которому действительно пришлось раз побывать в фойе, и я обыкновенно приглашал его к себе и просил рассказать мне все, что он помнил об этом фойе. Но даже и его воспоминания оказались смутными и неясными. Он сам хорошенько не знал, где он видел это фойе — в Ливерпуле, или в Нью-Кастле, а иной раз ему представлялось, что это было в Экзетере. Но где бы это ни было, театр этот сгорел много лет тому назад — в последнем он был твердо уверен.

Как-то раз я нарочно пошел в один из очень больших лондонских театров, при котором, как меня уверяли, было действительно фойе, и тут пришлось мне дать на водку четыре шиллинга и семь пенсов. Я действительно отыскал фойе, но мне сказали, чтобы я лучше туда не ходил, потому что вся комната была загромождена бутафорскими вещами, и я мог бы что-нибудь разбить в темноте.

Дело в том, что если при каком-нибудь театре и бывает комната, предназначенная для фойе, то ее берет себе под кабинет или какая-нибудь знаменитая актриса, или сам антрепренер, а остальная труппа должна проводить время в антрактах или в уборных, где актеры всегда мешают один другому, или же за кулисами, где они простужаются и где их толкают машинисты и рабочие.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Мой «первый дебют»

В субботу должны были начаться представления и вместе с тем это был такой день, в который мне предстояло в первый раз появиться перед английской публикой — мой «первый *дебут*», как называл наш парикмахер. Когда я думал об этом заранее, то очень боялся, как бы мне не сконфузиться, но, странное дело, — я никогда не испытывал страха на сцене. Я называю это странным, потому что не подлежит сомнению, что в этом возрасте я, как и все действительно великие люди, был человеком скромным, и не любил ничем выдаваться. Но мне помнится, что я был совсем не таков в детстве. Мне рассказывали, что в те дни, когда меня водили в платьицах и фартучках, я имел обыкновение, стоя на столе, декламировать стихи, к величайшему удовольствию моих пожилых родственников (ах, старики умели наслаждаться в то время, когда я был мальчиком!), а моя старая нянька всегда указывала на то, что я раз в омнибусе, продекламировав с большим чувством «Бэ-э, бэ-э, черная овца», собрал за это целых полкроны. Но сам я совсем не помню об этой последней декламации, и если она и действительно была, то куда же девались деньги? По-моему, на этот вопрос никогда не давалось удовлетворительного объяснения.

Но если я умел владеть собою, когда был восьмилетним ребенком, то в восемнадцатилетнем возрасте я совсем не отличался самообладанием. Даже и теперь я не стал бы играть в гостиной, где собралось большое общество, хотя бы и за тысячу фунтов стерлингов, — предполагая, что общество оценило бы мое старание в эту сумму. Но перед театральной публикой я чувствовал себя прекрасно; я совершенно освободился от этой застенчивости, на которую в частной жизни так горько жалуются дамы, мои приятельницы. Надо сказать прежде всего, что я не мог видеть зрителей, — по крайней мере, дальше третьего ряда кресел я уже никого не видал. Так как актер находится на ярко освещенной сцене, а весь остальной театр погружен во мрак, то зрители кажутся ему какими-то тенями и призраками, и он не может ничего видеть, кроме сливающихся в одну массу белых лиц. Так как я никогда не замечал «множества сверкающих глаз», то они не смущали меня и могли сверкать, сколько им угодно. Самый убийственный взгляд не может произвести подавляющего действия на слепца.

Но я полагаю, что если бы я был в нервном состоянии на

первом представлении, то это было бы вполне извинительно: я знал, что в театре сидит где-то отборная компания, составленная из моих закадычных приятелей — нескольких студентов-медиков и сыновей духовных лиц; они пришли сюда целой гурьбой для того, чтобы похлопать мне в день моего первого дебюта, как они говорили. Они хотели прийти непременно. Я просил их не беспокоиться обо мне, но они об этом не хотели и слышать. Они говорили, что если они придут в театр и я буду знать об этом, то это послужит мне поддержкой. Вот до чего они простирали свою заботливость обо мне. Это меня рассердило.

— Послушайте, — сказал я им, — если вы, друзья мои, намерены дурачиться, то я все брошу и играть не стану.

Они сказали, что вовсе не намерены дурачиться, но придут посмотреть меня. После этого я не стал им ничего возражать.

Но я их надул. Я лгал этим доверчивым молодым людям с таким добродушно-правдивым видом, что они мне поверили, хотя знали меня давно. Даже и теперь, когда после этого прошло уже много времени, я ощущаю некоторую гордость, когда вспомню, как удачно я их обманул. Они не имели никакого понятия о театрах и актерах в заречной части города, поэтому я назвал им фамилию нашего Первого Старика и сказал, что буду играть под этой фамилией. Говоря о действии гримировки, я сильно преувеличил и внушил им следующее: я до такой степени изменюсь, что они даже не поверят, что это я, и просил их обратить особенное внимание на то, что я буду говорить не своим голосом. Я не сказал им, какую роль я буду играть, но как будто немножко проговорился, намекнув на то, что в моей роли говорится о седых волосах и давно схороненных детях; затем я купил точно такую же палку, с какой этот бедный старик должен был ходить в пьесе, и нарочно выкладывал ее напоказ.

Что касается меня лично, то план удался на славу, но старик был очень удивлен. Он был слишком глух для того, чтобы слышать, что происходило в зрительном зале, но все-таки понял, что на него обратили внимание некоторые из зрителей и что он, очевидно, очень нравится известной части публики, и это последнее обстоятельство, по-видимому, казалось ему удивительным. Когда он вышел в первый раз на сцену, то мои милейшие приятели оказали ему самый лучший прием. В продолжение всей пьесы они аплодировали решительно всему, что бы он ни сказал, или ни сделал, и вызывали его после всякого действия. Они заставили его повторить ту сцену, где он вызывает на бой злодея, а когда он вышел на сцену без шляпы в метель, то они вытащили из карманов платки и громко зарыдали. В конце последнего акта они прислали ему сказать, чтобы он

поторопился, так как они ждут его у бокового подъезда, но это произвело на него такое действие, что он поспешил уйти из театра через главный вход.

Вообще, это первое представление прошло очень недурно. Во всех театрах первое представление — это не особенно приятное время. За кулисами все в страшно возбужденном состоянии, а к режиссеру или к старшему плотнику лучше и не подходи — они могут убить. Само собою разумеется, что это больше всего относится к пьесам, рассчитанным на внешний эффект, где автор стоит на втором месте после машиниста.

Теперь, как известно всем современным посетителям театров, на первых представлениях никогда не бывает никаких недоразумений, или замедлений. По крайней мере, этого никогда не случается ни в одном из Уэст-Эндских театров, где постановка всякой пьесы бывает «торжеством для декоратора и режиссера!» Но в мое время недоразумения на первом представлении были скорее правилом, нежели исключением, и когда какая-нибудь сцена проходила без особенной неудачи, то мы чувствовали, что можем поздравить друг друга.

Я помню, что в одном из лондонских театров давалась в первый раз пьеса, где самая эффектная сцена в конце четвертого действия изображала падение дома, который должен был задавить (буквально) злодея. На этот «эффект» возлагались большие надежды. Предполагалось, что если декорации упадут одна на другую, то дом рухнет и, вероятно, все так бы и было, если бы благодаря тому, что произошла путаница в репликах, занавес не был спущен ранее, чем бы следовало.

Дом упал прекрасно, злодей, не произнесший ни одного слова, был убит на месте, а героиня была спасена как раз вовремя героем (который в этих пьесах оказывается всегда где-нибудь за углом), но только публика никак не могла понять, отчего идет такой шум на сцене и почему ни один актер не принял живописной позы при окончании действия.

Но хотя декорации упали при спущенном занавесе, тем не менее это произвело сильное впечатление за кулисами. Когда несколько поуспокоились, то принялись очень усердно разыскивать того, кто спускал занавес, но оказалось, что он бежал без оглядки из театра, позабыв даже свою шапку. Но об этом узнали уже позже, и после того, как был спущен занавес, режиссер целых полчаса ходил с ломом в руках, очевидно отыскивая кого-то глазами.

Если занавес поднимут раньше, чем следует, то это выходит еще смешнее. Я помню, что как-то раз «тряпка» поднялась кверху совершенно неожиданно и глазам зрителей представилась

следующая сцена:

Король страны сидит у постели своего умирающего сына. Он пьет пиво прямо из бутылки. Его парик и борода лежат около него, на полу. Его умирающий сын (это была актриса) пудрится, в одной руке у него ручное зеркало, а в другой — пуховка. Верховный жрец страны (это был я) ест сладкий пирожок, между тем как один услужливый статист застегивает ему назади пуговицы.

Я вспомнил, что в одном очень маленьком провинциальном театре был еще другой случай. В этом театре была только одна уборная, и, конечно, ее взяли себе дамы. Мы же, мужчины, должны были одеваться на самой сцене. Вы можете представить себе, что было после того, как поднялся занавес: крик, смятение, топотня; сцена была похожа на южный берег реки Серпентайна после 8-ми часов вечера; затем занавес был опять быстро спущен; публика громко выражала свой восторг. Это был самый большой успех, какой только мы имели во время нашего пребывания в этом городе.

Впрочем, я вполне убежден, что эта последняя катастрофа произошла не случайно и что тут был замешан один негодяй из актеров, фамилии которого я, из уважения к его семейству, называть не стану.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Хищные птицы

Я играл в Лондоне у моего первого антрепренера весь летний сезон, который продолжался около девяти месяцев, и думаю, что если принять все в расчет, то это были самые счастливые дни за все время моей сценической карьеры. Актеры в этой труппе были самые приятные люди. Это была радушная, веселая труппа; когда, бывало, сойдутся актеры, то только и слышишь: «А, вот и ты, дружище, как раз кстати для того, чтобы выпить», или: «Добро пожаловать, приятель» — вот какая была эта труппа.

Между актерами не существует тех кастовых различий, которые ставят непреодолимую преграду, например, между человеком, продающим каменный уголь тоннами, и тем, который продает его по мелочи. Актеры составляют из себя республику. Актер, играющий главные роли, прохаживается под руку с какой-нибудь «полезностью», а знаменитость пьет из одной кружки с «поющей служанкой». Мы все были очень дружны и хорошо обходились друг с другом, точно братья с сестрами, может быть, даже и получше, и вечер, который мы проводили в этих уборных, где почти не было никакой мебели, считался у нас самой приятною частью дня. Тут никогда не скучали, но всегда шумели и забавлялись; сколько было анекдотов, разных занимательных историй — и хорошо же умели рассказывать их актеры! — тут только и знали, что ухаживали за дамами, болтали, шутили, смеялись.

Какие веселые были тут ужины! Блюда приносились из кухмистерской через улицу совсем горячими, так что от них шел пар, и мы должны были постоянно выскакивать, не доужинав, и, с набитым ртом, бежать сломя голову на выручку к какой-нибудь несчастной женщине, которая то и дело попадала в затруднительное положение, или же для того, чтобы убить какого-нибудь дядю; и как широко мы должны были раскрывать рот для того, чтобы есть, а иначе мы могли стереть с губ кармин! Как приятно было выпить кварту эля после свалки с полицией или драки с человеком, похитившим девушку! Какое наслаждение доставляло куренье, когда приходилось засовывать трубку в сапог всякий раз, когда слышались шаги, потому что курить строго воспрещалось!

Но сначала я был не совсем доволен. Проиграв месяц даром, я так и ждал, что мне положат три фунта стерлингов жалованья в неделю, но такого жалованья я не получил. Я напомню читателю

о своем контракте, в котором было сказано, что, по прошествии первого месяца, я буду получать жалованье, «смотря по способности», но антрепренер сказал, что если платить такое жалованье, то в театре не хватит денег и, вместо этой суммы, предложил мне девять шиллингов в неделю, великодушно предоставив мне на выбор — взять эти деньги, или же совсем отказаться от них. Я взял.

Я их взял, так как ясно видел, что если не возьму, то и совсем ничего не получу и что он найдет на мое место двадцать таких же молодых актеров, каким был я, которые будут играть у него задаром, а также и то, что контракт не стоит даже и бумаги, на которой он был написан. В это время я был в страшном негодовании, но так как вместо девяти шиллингов мне стали скоро платить двенадцать, а потом пятнадцать и восемнадцать, то я примирился со своим положением и перестал роптать; когда же я узнал поближе, какое жалованье получают актеры, и услыхал, какой суммой удовлетворяются даже старые артисты, то был очень доволен.

Актеры были ангажированы в труппу по летним ценам, которые гораздо ниже цен зимних, а эти последние, средним числом, составляют несколько меньше того, что зарабатывает работящий трубочист. Публика, которая читает о том, что такой-то актер получает сто двадцать фунтов стерлингов за представление, что такая-то актриса зарабатывает восемьсот фунтов стерлингов в неделю, что годовой доход известного комика-буфф составляет около шести тысяч фунтов стерлингов, что такой-то лондонский антрепренер действительно уплатил все свои налоги (так говорит он сам), едва ли может иметь понятие о той жизни, которую ведут актеры, находящиеся на нижней ступени сценической лестницы. Это очень длинная лестница и таких актеров, которые побывали и на нижней, и на верхней ее ступени, очень немного. Но те, которые изведали это собственным опытом, могут вполне оценить контраст.

М-р Генри Ирвинг, говоря где-то о начале своей карьеры, упоминает о том, что получал жалованья, кажется, двадцать пять шиллингов в неделю; вероятно, он думал тогда, что это очень хорошее жалованье и, может быть, раньше получал даже меньше этого. В провинции тридцать шиллингов считается хорошим жалованьем для актера, могущего играть разного рода «ответственные» роли, и за эту цену от него требуется, чтобы он по первому требованию готов был сыграть роль Отелло или сэра Питера Тизли и кроме того сам достал бы себе костюм.

«Талант» может получать три фунта стерлингов в неделю, а молодой актер-«полезность» считает себя счастливым, если

получит гинею. Иногда последний получает двадцать два или двадцать три шиллинга, но это только приучает его к мотовству, от чего он сам страдает впоследствии. В небольших лондонских театрах актеры получают еще меньше жалованья, так как нет путевых издержек и т. д. и обыкновенно тут *обещают* платить от восемнадцати шиллингов до двух фунтов стерлингов.

Но я не думаю, чтобы я мог получать и такое жалованье, о котором упоминал выше, если бы не случилось необычного обстоятельства, а именно: сезон оказался очень удачным, до такой степени удачным, что этого факта нельзя было скрыть, и за последние три или четыре месяца — надо думать, что удача вскружила антрепренеру голову — жалованье платилось *аккуратно и сполна*! Это совсем не выдумка, но совершенная правда. Такой факт может показаться удивительным моим читателям, особенно тем, которые хорошо знают сцену, но он поразит их гораздо меньше, чем поразил меня.

Большинство актеров не могло прийти в себя от изумления. Никогда не получая больше пяти шиллингов сразу, они теперь, по-видимому, совсем растерялись, и в те дни, когда раздавалось жалованье, уходили из театра, сами себе не веря, что им дали так много и сознавая, что должны за это стараться. Они не привыкли получать жалованье таким образом. Они привыкли к тому, чтобы им давали, напр., в какой-нибудь день два шиллинга и шесть пенсов, на следующий день, при начале представления — шесть пенсов, еще два пенса после первого действия и восемь пенсов перед уходом из театра.

— Значит, вы сегодня получили один шиллинг и четыре пенса, да вчера вечером два шиллинга и шесть пенсов, это составит три шиллинга и десять пенсов, — смотрите же, помните.

— Да, но это такая безделица, — вы сами знаете, что осталось за вами в долгу четыре шиллинга от прошлой недели и пять шиллингов шесть пенсов от позапрошлой, — я их не получал.

— Милый мой мальчик, ради самого Бога, не говорите вы о прошлой и позапрошлой неделях. Будем держаться только одной недели, — ведь, не доходить же до Потопа.

Они привыкли торговаться и спорить из-за каждого пенни, так хитрить, обманывать и грубить из-за своих денег, что ростовщик, берущий шестьдесят процентов в год, согласился бы лучше потерять и капитал, и проценты, нежели прибегнуть к подобным средствам; они привыкли умолять и неотступно просить их, подобно итальянским детям; ходить за кассиром по пятам, как ходят голодные собаки за человеком, развозящим мясо для кошек; приходить в театр рано поутру и ждать его весь день, караулить его по целым часам у двери кассы и, как только

отворится дверь, врываться в кассу и не уходить до тех пор, пока он не бросит им шиллинг; сидеть в засаде в каком-нибудь темном углу и бросаться на него, когда он проходит мимо; бегать за ним вверх и вниз по лестнице; потихоньку пробираться за ним в портерную; или же загнать его в угол и грозить поколотить его, если он не даст им еще шесть пенсов; понятно, что к этому последнему средству актер может прибегнуть только тогда, когда сам он большого роста, а кассир невелик. По счастью, кассиры были в большинстве случаев небольшого роста, а иначе актерам пришлось бы умирать с голоду.

Если же — что иногда и случалось — они оставляли кассира в покое и шли к самому антрепренеру, то он всегда отсылал их к первому, очень искусно притворяясь, что он совсем не заботится о таких пустых вещах, как денежные расчеты; и обыкновенно он даже доигрывал фарс до конца, — посылал за кассиром и просил этого джентльмена сделать ему большое одолжение — уплатить м-ру такому-то без задержки, а кассир очень серьезно обещал, что непременно это сделает. Если бы только не становилось стыдно за свою профессию, то можно было бы вдоволь насмеяться, слушая те комедии, которые каждый день разыгрывались за кулисами, во время представления.

— Послушайте, — говорит тень Гамлетова отца, неожиданно выступая из своей уборной и становясь перед кассиром, который осмелился пройти по коридору, думая, что тут безопасно и неприятеля нет, — послушайте, если вы мне ничего не дадите, то я не выйду на сцену.

— Милейший мой, — отвечает кассир тоном, в котором слышится отчаяние (хотя он старается его скрыть), смешанное с притворным сочувствием к говорящему, и посматривая украдкой по сторонам с тем, чтобы поскорее улизнуть, — право, не могу. У меня нет ни пенни. Мы с вами увидимся попозже, когда у меня будут деньги. А теперь мне надо идти. Там, у кассы, меня ждут.

— А мне какое дело до того, что вас ждут у кассы. Я вас стерег за кулисами целых два вечера, — мне непременно нужно получить сколько-нибудь деньжонок.

— Как же я могу дать вам денег, когда у меня их нет!

Таков смысл того, что он говорит. Мы думаем, что здесь гораздо лучше не повторять тех выражений, которыми он украшает свою речь. Реализм отличная вещь в своем роде, но есть черта, дойдя до которой, должен остановиться и сам Золя.

После этого, видя, что актер не намерен уступить, он начинает шарить в кармане; наконец, отыскивает полкроны и подает ему… не очень любезно.

— Мне этого мало, — говорит другой, кладя прежде всего в

карман деньги, — я не могу прожить четыре дня на полкроны.

Тогда кассир, не пускаясь уже в излишние объяснения, сует ему в руку пять шиллингов и бежит опрометью из коридора, потому что он услыхал шаги по лестнице и боится нападения со стороны другого актера.

Как антрепренер, так и кассир всегда отличаются тем, что ни у того, ни у другого никогда не бывает денег. Если они держат в руках деньги и их застанут, то они всегда говорят по привычке, что у них нет никаких денег. Вот что они отвечают обыкновенно, когда актер просит у них денег: «Право же, у меня совсем нет денег, милейший; а сколько вам нужно?»

Женщины, конечно, не буянили из-за денег, но они постоянно приставали к кассиру и не отставали от него, что было гораздо действеннее, чем все наши скандалы. Верно только то, что им было больше удачи в этом деле, чем мужчинам; это можно было бы приписать тому неотразимому действию, какое производит на мужчин умение женщин подольщаться, если бы только такое создание, как кассир, способно было подчиниться какому-нибудь смягчающему влиянию.

Никто из актеров не жаловался на такое положение вещей. Когда им случалось получить сколько-нибудь денег, то они бывали так удивлены и обрадованы этим, что забывали даже, каких хлопот стоило им получить эти деньги. Они так привыкли к тому, что им совсем не платили жалованья, что если у них отнимали только какую-нибудь его часть, то они уже не обращали на это никакого внимания. Если антрепренер скрывался, то это считалось очень обыкновенным делом, и никто не выражал удивления. На него смотрели только как на человека, который повел дело обычным порядком, и когда он пропадал без вести, то его жертвы только вздыхали и начинали отыскивать другого антрепренера, который мог обмануть их точно таким же образом.

А в мое время было очень легко найти другого такого антрепренера: в списке театральных антрепренеров то и дело попадались плуты. Мне казалось, что если какого-нибудь человека отовсюду выгоняли, то ему оставалось только нанять в кассиры такого же негодяя, каков он был сам, и давать представления. Надо думать, что игра, в которую играли эти плуты-антрепренеры, была очень выгодна и нисколько не опасна. Никто и не думал мешать им. Если, благодаря собственной неловкости, они подвергались преследованию закона, то и тут выходили сухими из воды.

Судьи местного суда, очевидно, считали их мошеннические проделки только шутками, и в самом худшем случае антрепренерам приходилось только выслушивать шутливый

совет, сказанный очень добродушным тоном: «Послушайте, вы, знаете ли, не должны делать этого в другой раз».

Актеры оказывали им уважение, считая их людьми в своем роде талантливыми. Даже с самыми известными из них обращались учтиво и остерегались говорить при них о таких вещах как нечестность и плутовство, потому что боялись их обидеть. Когда из Лондона приехали в Абердин актеры и актрисы, поступившие в труппу м-ра Смита и, прибыв на место, увидали, что этот м-р Смит был тот самый человек, который уже шесть раз обманул их под шестью различными именами, в разное время, в шести различных местах, то что же, вы думаете, они сделали? Они очень приветливо поздоровались с этим джентльменом, сделали несколько шутливых замечаний о том, что им приходилось встречаться с ним и прежде, а сами, говоря между собою шепотом, выражали надежду, что на этот раз он их не обманет. Само собою разумеется, что в первую же субботу, в то время, когда они были на сцене, он бежал, захватив с собой всю недельную выручку; он переехал в ближайший город и там, под именем Джонса, стал набирать по публикации новую труппу.

Трудно приходилось актеру, а еще того труднее какой-нибудь бедной молодой актрисе, оставленным на произвол судьбы, без гроша в кармане и без знакомых в чужом городе, за сотни миль от родных. Бедные актеры помогали, насколько могли, один другому, но провинциальные актеры — народ небогатый, по крайней мере, они не были богаты в прежнее время, и у первого капиталиста между ними оставалось не больше нескольких шиллингов в кармане после того, как нужно было заплатить за квартиру и содержать себя одну или две недели. Приходилось отдать свой гардероб рассерженной квартирной хозяйке в обеспечение платы, а не выкупив и не получив его обратно, нельзя было взять другого ангажемента.

Нужно было просить у друзей, тоже людей бедных. Все ценное было заложено, даже обручальные кольца, и актеры возвращались домой с печальными лицами и пустыми руками.

Когда подумаешь о тех бедствиях, причиною которых были эти негодяи, то приходишь в страшное негодование. Я знал таких актеров и актрис, которые принуждены были ворочаться домой пешком и пройти половину королевства, ища себе приюта в каких-нибудь попадавшихся на дороге сторожках в том случае, если ночи были слишком холодны или шел дождь, так что нельзя было ночевать под сенным стогом. Я знал таких актеров и актрис, которые были принуждены продать решительно все свое платье для того, чтобы приобрести новый театральный гардероб. Я знал целые семейства, которые, сколотив последний грош для того,

чтобы иметь возможность поступить в одну из этих трупп, через несколько дней возвращались обратно в крайней нищете и принуждены были продать всю мебель, которой у них было немного, а иначе они не могли бы выехать. Я знал одного бедного актера, оставшегося без гроша в кармане в Глазго с женою, болезненной женщиной, которая должна была в скором времени родить, и они принуждены были вернуться обратно в Лондон на весельной лодке, потому что все заложили и у них только и осталось денег на лодку. Это было в половине января, погода стояла ужасная; лодка плыла по каналу больше недели при сильной качке и только-что они доехали до места и вышли на берег, как женщина умерла.

Некоторые антрепренеры совсем не хлопотали о том, чтобы убежать, но старались придать приличный вид своим поступкам: они, в день раздачи денег, платили актерам по одному шиллингу и шесть пенсов каждому, говоря, что им очень жаль, но что дело совсем не пошло; что билеты не раскупались, расходы громадные, или придумывали какую-нибудь обычную в этих случаях ложь.

И он начинал утешать их, говоря, что и сам потерял деньги, как будто бы это было достаточной причиной для того, чтобы и им также терять свои деньги.

Что касается того, что эти люди могут потерять свои деньги, то это немыслимо.

Им и терять нечего. Если они и теряют деньги, то никак не свои, а чужие, — в этом вы можете быть уверены. У этих людей совсем не было никакого капитала и они воспользовались актерами единственно для того, чтобы загребать чужими руками жар, в такой спекуляции, где весь риск был на стороне труппы, а на их стороне только одна выгода.

Система «на паях» была еще хуже этой. Попросту говоря, это означало только то, что если бы предприятие не увенчалось успехом, то актеры должны были бы разделить между собою поровну убытки, а антрепренер — если бы ему только это удалось — положил бы к себе в карман всю выручку.

Само собою разумеется, что из всех лиц, имеющих какое-нибудь отношение к сцене, на актеров в этом случае обратили бы меньше всего внимания и обманули бы их больше всех. Если бы в то время один из моих приятелей сделался театральным антрепренером, то, чтобы избавить его от излишних издержек, я дал бы ему следующие советы:

«Вы должны платить человеку, расклеивающему афиши, а иначе он не будет наклеивать ваших афиш, или если и наклеит, то кверху ногами. Платите за публикации, а то их не будут помещать. Платите плотникам и машинистам, а то они наделают

вам неприятностей. Платите вашим кассирам, а иначе они сами себе заплатят; платите за газ, а иначе вам его не дадут; а также и за наем театра, а то вас выгонят на улицу. Позаботьтесь также и о том, чтобы заплатить статистам, а иначе они все уйдут из театра, когда придет время выходить им на сцену. Ради бога, не задерживайте жалованья поденщице, а то она не даст вам и пяти минут покоя до тех пор, пока вы ей не заплатите. А если вы не желаете в понедельник утром побывать в местном суде, то заплатите вашему рассыльному в субботу вечером. Вы *должны* заплатить всем этим людям. Тут нечего и раздумывать, а надо прямо платить; если же вы этого не сделаете, то дня через два придется вам закрыть лавочку. *Но вам нет необходимости платить кому-нибудь другому*. Если у вас останется несколько шиллингов, с которыми вы не будете знать, что делать, то вы можете разделить их между актерами и актрисами; но, впрочем, в этом случае вы можете поступить по своему усмотрению. Они все равно будут работать, заплатите вы им, или нет. Да кстати, и автор, это тоже такое лицо, которому вам никогда не нужно платить. Что касается его, то, право, ему даже опасно платить, а иначе нельзя и сказать, какие последствия может иметь для него подобное потрясение.

Правда, что ваша труппа будет надоедать вам требованием денег, она будет роптать и грозить вам, но из этого никогда ничего не выйдет и, через несколько времени, вы к этому привыкнете и не будете обращать на подобные вещи никакого внимания».

Что касается того, чтобы актеры и актрисы могли принять какие-нибудь действительные меры для ограждения своих прав, то подобная дикая фантазия даже никогда и не приходила им в голову. Если бы вы посоветовали им нечто подобное, то они бы испугались и сочли вас за молодого человека с опасными революционными стремлениями, которые со временем могут навлечь на вас большие неприятности. А один в поле не воин.

Я помню, что как-то раз один актер вздумал вызвать в суд антрепренера, обманувшего его на семь фунтов стерлингов, и вот, истратив около десяти фунтов стерлингов на ведение дела, он получил исполнительный лист на уплату этой суммы, рассроченной помесячно по десяти шиллингов, из которых он, конечно, не получил ни одного. После этого ему было почти невозможно найти себе какую-нибудь лавочку (это выражение относится не к жаргону, но оно — местное). Ни один из антрепренеров, слышавших об этом деле, не хотел принять его в свою труппу.

«Во что бы только обратилась сцена, — говорили они, — если

бы подобные вещи сделались обычными».

А в газетах было сказано: очень жаль, что он (актер) вздумал выносить сор из избы.

Во всех этих замечаниях я старался употреблять прошедшее время. Многие из них можно было бы приложить и к настоящему времени, но, вообще говоря, с тех пор, как я играл на сцене, положение вещей улучшилось, чему я очень рад.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Я покупаю себе корзину и отправляюсь в провинцию

Наш сезон в лондонском театре должен был окончиться в начале декабря, а потому в конце ноября мы все начали очень интересоваться предпоследней страницей «Книги, необходимой для актера». Так как это было перед самым Рождеством, а святки — самое хлопотливое время во всем театральном году, то не трудно было достать себе другой ангажемент, потому что везде был большой спрос на «полезных актеров», «сведущих актеров», «талантливых актеров», «сногсшибательных актеров», «первоклассных потрясающих своею игрою актеров», и на «целые драматические труппы». Я ответил только на одну публикацию и сейчас же получил ангажемент; но, вероятно, это произошло от того, что я, в своем ответе, имел благоразумие приложить свою фотографическую карточку.

Я должен был присоединиться к труппе, находившейся в одном из городов западной Англии, за неделю до Рождества, и на первое представление шла у нас пантомима. Первую неделю я должен был ходить на репетиции за половинное жалованье, а потом получать одну гинею в неделю за «ответственные» роли; путевые издержки, в случае переезда из одного города в другой, оплачивались дирекцией.

Здесь надо заметить, что мне никогда не приходилось встречать такого почтенного и благовоспитанного антрепренера, каким был антрепренер, стоявший во главе этой труппы. Мы даже никогда не просили своего жалованья; нам платили аккуратно до последнего гроша, как бы ни шло дело — хорошо или дурно. Словом сказать, он был честный человек и, по своей честности, являлся самой выдающейся личностью между современными театральными антрепренерами.

Собираясь уехать из Лондона, я составил себе маленький гардероб. У меня уже был запас сапог, башмаков и трико, но кроме этого могло понадобиться еще много других вещей, и прежде, чем я купил их, я думал, что они обойдутся мне очень дорого. Всего дороже обошлись мне парики, которые стоили от семи шиллингов до двух фунтов стерлингов, а мне нужно было купить семь или восемь париков — «напудренный придворный», «шатен времени Георгов», «распущенные по плечам кудри», «жидкий парик» (я решительно не понимаю, отчего его так называют), «парик старого комика», «плешивый» и «длинные

волосы», — для всякой роли, какую пришлось бы мне играть.

Как-то раз утром, в воскресенье, я отправился в Петтикот-Лэн[6] и там подобрал себе различные принадлежности костюмов. Нигде нельзя купить театральных костюмов так дешево, как в этом месте. Я купил себе полный матросский костюм за пять шиллингов, а ливрею за шестнадцать. Здесь было также множество старомодных фраков, вышитых жилетов, панталон до колен, блуз, шляп, плащей и шпаг, и все это можно было купить за очень дешевую цену. Потом мне сшили кое-что сестры (в это время они стали смотреть снисходительнее на мою «нелепую выходку» и им было даже приятно думать о том, что у нас в семействе есть актер), за всем же остальным пришлось идти к настоящему костюмеру. Всех этих вещей, вместе с довольно большим запасом современных костюмов, связкой театральных журналов и других книг, ящиков для грима, дорожным несессером, письменным прибором, и т. д. и т. д., набралась довольно большая куча, и так как она с течением времени скорее увеличивалась, нежели уменьшалась, то я решился купить огромную дорожную корзину, которая могла бы вместить все мною купленное, и уложить все вещи.

Я действительно приобрел огромную корзину. Она сохраняется у меня и до сих пор и стоит под лестницей, в прачечной. С тех пор и до настоящего времени я никак не мог от нее отделаться. Переезжая на новую квартиру, я оставлял ее на старой, но мне ее всегда присылали, и привозили ее обыкновенно два человека на телеге, вероятно, воображая, что они возвращают мне драгоценную для меня, доставшуюся мне по наследству, вещь и всегда приходили в смущение от того, что я не выказывал при этом восторга. Я заманивал к себе уличных мальчишек и говорил, что дам им полкроны, если они унесут эту корзину с глаз долой и где-нибудь ее бросят, но они, увидя ее, пугались, и вернувшись домой рассказывали об этом своим матерям, после чего в околотке распространялся слух, что я совершил убийство. Это была совсем не такая вещь, которую можно было бы захватить с собой в темную ночь, с тем, чтобы бросить ее на чужом дворе.

В то время, когда я пользовался ею, мне нужно было укладывать все мои вещи в сенях, потому что ее нельзя было ни внести вверх по лестнице, ни снести вниз. Она всегда стояла за парадной дверью, так что тому, кто входил в эту дверь или выходил из нее, оставалось очень немного места для прохода — около шести футов, и всякий, кто проходил через парадный вход, непременно ушибался, кто больше, кто меньше. Хозяин дома, вернувшись поздно ночью, ударился об нее лбом и начал кричать «караул» и звать полицию, будучи в полной уверенности, что это

воры. Служанка, входя в дом с пивом, стукалась об нее и опрокидывала на нее кружку; когда же в нее впитывалось все пиво, то распространялся такой запах, какой бывает в кабаке.

Страшно и подумать, сколько бранных слов было сказано по поводу этой корзины. Железнодорожные носильщики и извозчики приходили от нее в ярость, и они бросались на нее с таким остервенением, что у меня от ужаса замирало сердце. Квартирные хозяйки, которые, при первом моем посещении, рассыпались передо мною в любезностях, становились очень холодны ко мне и не хотели на меня глядеть, когда привозили эту корзину. Никто не сказал о ней доброго слова. Она везде внушала к себе отвращение и ненависть. Я даже боялся, чтобы ее жертвы не восстали и не стерли ее с лица земли. Но мои опасения были напрасны: она перенесла все — и проклятия, и толчки, и я, видя, что мне ни в каком случае не удастся освободиться от нее, решил, что пусть меня в ней похоронят.

Моя верная, старая корзина! Много лет прошло с тех пор, когда мы с тобой отправились в дорогу в тот достопамятный день семнадцатого декабря, когда снег валил хлопьями, и какая ссора вышла у нас тогда с извозчиком, — беда да и только! Но зачем ты покинула меня в Бристоле? Зачем ты…

Довольно: к чему мне делать такие глупые обращения к жалкой, старой корзине? Да и то сказать, для чего мне сидеть сосать ручку пера и с диким видом смотреть на лампу, мучаясь и придумывая что писать, когда у меня под руками тот рукописный материал, который неотступно просит у меня один из этих чертей, лиденгольских издателей (я не желаю, чтобы они ко мне присылали такого мальчишку, который свищет) и надоел мне до смерти?

Передо мною, для справок при моих воспоминаниях, лежит целая куча писем, написанных мною во время моих путешествий старому товарищу, Джиму. Вот одно из них.

…— Дорогой Джим, — нам (т. е. корзине и мне) было очень холодно дорогой. В Бристоле я потерял корзину и должен был телеграфировать. Я знаю только одно, что эта корзина меня уморит. Впрочем, в одном отношении она выгодна: по ней сейчас видно, что я актер, и носильщики не рассчитывают получить от меня на водку. Я нашел себе здесь хорошее помещение. Прекрасная, большая спальня, право пользоваться приемной, прислуга и стол за четыре шиллинга в неделю. Очень милые, простые люди, чистота такая, что все блестит, и дочка недурна собою.

Я бы написал тебе и раньше, да у нас было очень много дела. Две, а иногда и три репетиции в день, не говоря уже о разрисовке

декораций, — тут мы все помогаем. В день первого представления (на второй день Рождества) театр был битком набит и с тех пор он бывает почти всегда полон, так что выручка получается свыше пятнадцати фунтов стерлингов. Недавно были в креслах доктор прав Парри и какой-то важный лондонский актер, фамилии которого я не припомню. Нам (я говорю «нам», потому что мы помогаем решительно во всем — день или два тому назад двое из нас вышли ранехонько на улицу для того, чтобы расклеивать афиши: у нас есть человек, нанятый специально для расклеивания афиш, но всю эту неделю он будет пьянствовать), нам, повторяю я, было много хлопот: мы обучали статистов и разучивали балет. Когда танцуют статисты, то их услышишь: их слышно за целую милю. От них трясется весь театр. Как они, так и corps de ballet, набираются из рыбачьего населения города. Corps de ballet состоит в настоящее время из восьми человек, но это только для первых представлений, а то мы скоро сократим это число до шести. Мы нанимаем также до дюжины ребят для того, чтобы танцевать вокруг майского дерева. На них приятно смотреть. Им платят по три пенса за представление, но тут для них самих удовольствия больше, чем на три шиллинга.

Между ними есть одна маленькая девочка, похожая лицом на ангела — по правде сказать, я никогда не видал, какие лица бывают у ангелов и, по всей вероятности, не увижу этого до тех пор, пока не умру, но думаю, что у них именно такие лица. Ее одевают каждый вечер к семи часам, и с этого времени до тех пор, пока она не выйдет на сцену, — что бывает в десять часов — она, не переставая, танцует и поет для своего собственного удовольствия. Когда, наконец, ставят дерево, она стоит и смотрит на него с разинутым ртом и потихоньку весело смеется. Она бывает в таком возбуждении, что когда приходит время танцевать, она всегда вертится совсем в другую сторону и не с тем мальчиком, который должен быть ее кавалером; но вот что странно — она из остальных мальчиков всегда выбирает одного. Счастливый мальчик, но он и сам не знает, что он счастлив: он так мал. После танцев маленькие мальчики целуют маленьких девочек. Ты бы только посмотрел, как эта маленькая фея отворачивается, потихоньку смеется и отталкивает от себя своего маленького поклонника. Мальчики страшно застенчивы, но маленькие девочки, как кажется, ничего не боятся. Вот в чем превосходство женщины над мужчиной.

Костюмы для балета все выписаны из Лондона, они очень красивые и дорогие. Пьеса называется «Уиттингтон и его кот», она написана здешним режиссером, но почти вся состоит из пения и танцев, а если есть в ней какие разговоры, — это актеры

говорят от себя то, чего нет в пьесе. У меня, в одной из моих ролей, есть две песни, а в другой — одна. Я думаю, что петь не трудно, когда к этому привыкнешь. Но оркестр меня совсем заглушает. Я бы чувствовал себя гораздо свободнее без музыки. Ради публики мы делаем намеки на животрепещущие местные вопросы, причем, конечно, стараемся следовать совету м-ра Пиквика и «кричим вместе с большинством». Это ей чрезвычайно нравится. Намек на новый фонарный столб в Гай-стрит привел ее вчера в неописуемый восторг.

Наш комик-буфф учит меня танцевать, и я каждый день упражняюсь около часа. Это страшно трудно, но я уже почти выучился матросской пляске. Мне непременно нужно ее знать: ничто не производит такого сильного действия на провинциальную публику, как матросская пляска.

Само собою разумеется, что режиссер — человек угрюмый, но зато сам антрепренер — славный малый и обращается с нами, актерами, с большим уважением, точно с театральными плотниками, а потом и деньги верные. Наш премьер так и не приехал, а поэтому его роль была выкинута из пьесы, — не скажу, чтобы это улучшило ее завязку. В начале пьесы я играю роль ленивого клерка (это так напоминает гражданскую службу в старое время), а также и первого министра в Титтату; мне дается на переодевание только три минуты. Конечно, я исполняю роль первого министра в комическом виде, но для роли клерка художественной игры не требуется. Я притворяюсь, что сплю и тогда клоун, который играет роль другого клерка, ударяет меня по голове трещоткой: тут я просыпаюсь, вырываю у него трещотку и также ударяю его по голове этой трещоткой, после этого он бросается на меня и наносит мне удар; потом мы начинаем с ним барахтаться (это нечаянное нападение разбудит всякого, могу тебя уверить), после чего мы оба начинаем драться с котом. Недавно я упал прямо на голову (слава Богу, что на голову, а не на что-нибудь другое) и при этой драке сломал стул. Мне закричали: bis, но я не стал повторять. Думаю, что ты назовешь это сногсшибательной игрой. Я рад, что никто из моих приятелей не видит, как я тут играю. Играть, это не значит только одеться в трико, объясняться в любви и драться настоящей шпагой.

В будущую субботу у нас, прежде балета, идет драма. Представь себе, что я почтенный отец семейства, разрешаю вступить в брак режиссеру с примадонной и благословляю их, а им обоим вместе около восьмидесяти лет. Вот какую роль придется мне играть.

В первый день Рождества мы все обедали у антрепренера в той гостинице, где он остановился, очень приятно провели время

и просидели до четырех часов утра. Прежде, чем мы уйдем отсюда, у каждого из нас будет «бенефис». Мне было приятно услыхать это, но все остальные актеры не выказали восторга. Наш «Гость» сказал мне, что ему всегда приходится терпеть от своих бенефисов никак не меньше тридцати шиллингов убытка. Я думаю, что откажусь от своего бенефиса. Тут нужно заплатить все издержки, а получишь только половину выручки. По-моему, вся прелесть бенефиса заключается в том, что актер может выбрать какую угодно пьесу и взять из нее любую роль. Мне бы хотелось попробовать сыграть роль Ромео.

Я уже испытал, что значит слава, и не скажу, чтобы мне она была особенно приятна. Меня узнали на улице и за мной бежала целая толпа ребятишек. Они, по-видимому, только того и ждали, что вот я остановлюсь где-нибудь на углу и начну петь.

В театре мужская уборная находится наверху, на колосниках, и чтобы попасть из нее на сцену, нужно сойти вниз по приставленной к ней лестнице — другого средства сообщения нет. Недавно случилось вот что: эту лестницу отставили, так что наш комик-буфф не мог сойти вниз. Но мы этого не знали, и вот гофмейстер, выйдя на сцену, сказал: «Смотрите, вот идет ваш государь», но, конечно, государь этот не показывался. Гофмейстер повторил опять те же самые слова, публика начала смеяться, и тогда какой-то сердитый голос крикнул сверху: «Молчи, дурак ты эдакий! Где же это лестница?»

А теперь и мне самому пора «замолчать», потому что уже половина седьмого, а в восемь часов нужно выходить на сцену. Я здесь очень хорошо устроился. Напиши поскорее, дружище, и сообщи, что новенького. Видел ли ты милую малютку?..

Ну, тут уже говорится о таких вещах, которые не имеют никакого отношения к театру.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Первые опыты в провинции

Я думал, что мне удалось устроиться на летний сезон в этой труппе и радовался, что нашел себе такую хорошую квартиру. Но на сцене нельзя ни за что поручиться, почти точно так же, как и на скачках. Неизвестно по какой причине, дело у нас совсем расстроилось, так что нам не пришлось даже переезжать из одного города в другой, и через два месяца после того, как я выехал из Лондона, я уже должен был снова отправиться в путь и ехать на этот раз совершенно в противоположную сторону Англии для того, чтобы поступить в другую труппу.

Но хотя мой первый провинциальный ангажемент продолжался очень короткое время, я все-таки успел хорошо ознакомиться с тем, как играют на провинциальной сцене. Вот выдержка из одного моего письма, написанного после того, как я две недели проиграл на провинциальной сцене, когда в этом театре перестали давать балеты.

…Балетов больше давать не будут. Я не большой до них охотник, но мне жаль только одного: дело вот в чем, — пока их давали, не нужно было учить роли, ходить на репетицию, у нас весь день был свободен, мы могли веселиться, сколько душе угодно, и действительно веселились. Но теперь уже мы не можем кататься на коньках целым обществом, не можем делать больших прогулок, кататься в экипаже или прочесть в один день целый роман! Мы каждый вечер играем, по крайней мере, две новых пьесы, а иногда и три. Многие из здешних актеров уже знают свои роли так твердо, как азбуку, для меня же это все новое, и мне приходится страшно зубрить. Я никогда не могу сказать накануне, что я буду играть на следующий день. Распределение ролей вывешивается каждый вечер на двери, ведущей на сцену, и если у вас нет книги, то вы должны просить у режиссера его тетрадку и выписать из нее вашу роль. Если окажется, что она нужна и еще какому-нибудь актеру и он выпросит ее раньше, то вы получите ее, может быть, только на другой день утром, и вам остается около восьми часов времени, в которое вы должны отлично выучить роль, состоящую из шести или семи «длин» («длиною» называется сорок две строки).

Иногда бывают ссоры из-за распределения ролей. Второй комик-буфф не хочет играть стариков. Это совсем не его амплуа, его пригласили не для того, чтобы играть стариков. Пусть попробуют сначала дать другим актерам какие ни попало роли.

Первый Старик хочет знать, почему думают, что он будет играть роль Второго Старика. Его еще никогда и никто так не оскорблял. Он играл с Кином, с Мэкреди, Фельпсом и Мэтьюсом и никому из них и в голову не приходило просить его играть такую роль. Jeune premier видал много курьезов, но он готов поклясться чем угодно, что никогда не видывал, чтобы роль характерного комика давали когда-нибудь «Гостю». Он сам во всяком случае откажется играть данную ему роль, — она годна только для какой-нибудь «полезности». А «Гость» говорит, что это не его вина и что ему решительно все равно. Ему была назначена эта роль и он ее взял. Jeune premier знает, что это не его вина и не осуждает его, он обвиняет режиссера. По мнению jeune premier'a, режиссер — идиот. В этом все с ним согласны и выказывают полнейшее единодушие.

Когда случаются такие истории, то они обыкновенно оканчиваются тем, что ту роль, о которой идет спор — какова бы она ни была — взваливают на меня, как на актера, играющего «ответственные» роли. От меня требуют уж слишком большой ответственности. Когда хотят, чтобы я сыграл какую-нибудь особенно трудную роль, то мне очень нравится, каким образом мне ее предлагают. Говорят, что тут «представляется мне случай показать себя». Если они подразумевают под этим случай пробыть на ногах весь вечер и не присесть ни на минуту, то я с ними согласен. Я вижу тут случай выказать себя единственно в таком смысле. Неужели же они думают, что можно составить себе самостоятельное понятие о характере действующего лица и вдуматься в него, если роль увидишь в первый раз вечером, накануне представления?

Ведь даже нет времени подумать о смысле тех слов, которые повторяешь. Но предполагая, что каким-нибудь образом изучишь характер действующего лица, то все равно это ни к чему не поведет. Актеру не позволят провести свои собственные идеи. По-видимому, для каждой роли существуют определенные правила, с которыми актер обязан сообразоваться. В провинции оригинальность не имеет никакого значения.

Дождался я, наконец, того, что нашего режиссера обругали, осадили, совсем уничтожили. Он здесь, в провинции, уж очень поднял нос и до того доважничался, что его можно было счесть, по меньшей мере, за начальника станции, а теперь он похож на пузырь, из которого выпустили воздух: к нему приехала его жена.

Число женатых актеров в нашей труппе все увеличивается. Теперь у нас три женатых парочки. Жена нашего комика-буфф, «поющая служанка» — очень хорошенькая собою женщина (отчего это у безобразных мужей всегда бывают хорошенькие жены?).

Недавно я играл роль ее любовника, и мы должны были поцеловаться два или три раза. Мне это понравилось, в особенности потому, что она не сильно гримируется. Когда в рот набьется пудра или кармин, то это бывает очень неприятно.

В субботу я удостоился первого «вызова», — в этот день театр был совершенно полон. Конечно, я был в высшей степени польщен, но мне было очень страшно выходить на авансцену, когда поднялся занавес. Мне все думалось: «А что если это ошибка и публике нужен совсем не я». Однако, как только я появился на сцене, мне сейчас начали хлопать, и тут я совсем ободрился. Меня вызвали за комическую роль Жака в «Медовом месяце». Я всегда гораздо лучше играю комические роли, нежели какие-либо другие, и мне все говорят, что их-то мне и следует держаться. Но мне самому не хочется играть таких ролей. Мне хотелось бы блистать в высокой трагедии. Я не люблю комедии-буфф. Я желал бы лучше заставить публику плакать, нежели смеяться.

Когда я играю в настоящее время комические роли, то мне приходится считаться с маленьким неудобством: если я слышу, что публика смеется, то мне и самому хочется смеяться. Я думаю, что со временем отделаюсь от этого недостатка, но теперь, если мне удается быть комичным, то это смешит меня совершенно так же, как и публику; я мог бы сохранить серьезный вид, если бы зрители не смеялись, но когда они захохочут, то мне так и хочется присоединиться к ним. Но меня смешит не одна только моя собственная роль. Если на сцене играется что-нибудь смешное, то это меня забавляет, несмотря на то, что тут замешан и я. Я недавно играл роль Фрэнка вместе с нашим комиком-буфф, который был майором де Бутс. Он был замечательно хорошо загримирован и очень смешон, и я почти не мог играть своей роли, потому что смеялся, глядя на него. Конечно, если пьеса дается довольно часто, то она скоро перестает казаться забавной; но в здешнем театре, где каждая пьеса дается только два раза, шутки не могут прискучить.

Между городскими жителями есть один такой человек, который, с самого дня открытия театра, посещает его аккуратно каждый вечер. Балеты давались целый месяц, и он не пропускал ни одного. Я знаю, что они надоели мне до смерти еще задолго до того, как их совсем перестали давать, а потому решительно не понимаю, что бы я стал делать, если бы мне пришлось высиживать в театре с начала до конца представления. Впрочем, многие из наших покровителей посещают театр довольно часто. Городских жителей, которые ходят в театр, немного, но это всё одни и те же лица. Наша публика, видите ли, приходит сюда для

того, чтобы позабавиться. На прошлой неделе пришла какая-то толстая женщина, но оставалась недолго. Здесь все такие толстые, что никто не обратил на нее внимания.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
«Сумасшедший Мэт» пользуется благоприятным случаем

Я прожил один день в Лондоне, прежде чем отправился попытать счастья на новом месте и заглянул в тот театр, где играл прежде. В труппе были все новые лица, но рабочие и статисты, по большей части, те же самые, какие были и в мое время. Милый старый Джим был в своем обычном настроении и весело приветствовал меня следующими словами:

— Ба! Это вы! Вы, должно быть, очень любите наш театр. Какой черт принес вас сюда?

Здесь был также и «сумасшедший Мэт». На сцене шла пантомима, и Мэт, надев картонную голову, играл демона. Из того, что он мне сказал, можно было понять, что нынче его очень обижают. Его вызывают аккуратно после каждой сцены, в которой он появляется со своими собратьями, демонами, и комик сшибает их с ног, но дирекция не позволяет ему опять выходить на сцену и раскланиваться.

— Они мне завидуют, — сообщил мне Мэт шепотом, когда мы шли с ним в «Родней» (актер, встретившись с кем-нибудь из знакомых, кто только в состоянии пить, считает своим непременным долгом угостить его), завидуют, — вот от чего все это происходит. Я начинаю входить в славу, и они боятся, чтобы я их не затмил.

Очевидно, бедняга окончательно сошел с ума, но в то время, когда я об этом думал, он повернулся ко мне и сказал:

— Вы считаете меня за сумасшедшего? Скажите мне откровенно.

Когда какой-нибудь маньяк поставит вам напрямик вопрос, считаете ли вы его за сумасшедшего, то вы чувствуете себя очень неловко. Но прежде чем я мог придумать, что сказать ему в ответ, он продолжал:

— Часто говорят, что я — сумасшедший, — я сам слышал, что люди так говорят. Но даже если я и в самом деле сумасшедший, то, ведь, нельзя же говорить этого человеку прямо в лицо; но только я не сумасшедший, совсем не сумасшедший. Ведь *вы* не думаете, что я сумасшедший.

Я был так «озадачен», как сказала бы миссис Броун, что если бы я не имел присутствия духа проглотить наперед порядочное количество виски с водой, то, право, не знаю, что стал бы и делать. Потом я придумал сказать что-то вроде того, что «может

быть, он немножко эксцентричен, но…»

— Ну вот, — закричал он в сильном возбуждении, — эксцентричен, это так, а они называют это сумасшествием. Но им не придется долго называть меня сумасшедшим, — подождите немного, и мое имя загремит. Тогда они уже не будут называть меня сумасшедшим. Сумасшедший! Да *они сами*-то идиоты, потому что считают сумасшедшим такого человека, который никогда не был сумасшедшим. Ха, ха, дружище, вот я их скоро разудивлю! Я покажу им, дуракам, олухам, идиотам, кто из нас сумасшедший. «Гений стоит близко к безумию». Кто это сказал, а? Вот тот, кто сказал это, был гением, а его называют, может быть, сумасшедшим. Они — дураки, все дураки, уверяю вас. Они не умеют отличить сумасшествие от гения, но придет день, когда я им покажу… этот день придет.

По счастью, в портерной, в которой мы с ним сидели, совсем не было посетителей, а иначе он своими безумными речами обратил бы на себя всеобщее внимание, что могло быть очень неприятным. Он не раз делал попытки заставить меня послушать, как талантливо он исполняет роль Ромео, и я мог удержать его от этого только тем, что обещал прийти к нему в этот день вечером и послушать, как он будет репетировать свою роль.

Когда мы собрались уходить, то я сунул руку в карман и хотел заплатить, но, к моему ужасу, Мэт опередил меня и положил деньги на прилавок. Я никак не мог убедить его взять свои деньги назад. Он даже обиделся этим предложением и напомнил мне, что в последний раз угощение ставил я, — это было около трех месяцев тому назад. Он гордился тем, что получает шесть шиллингов в неделю, точно какой-нибудь богач, получающий шестьдесят тысяч фунтов стерлингов в год, и я был принужден уступить ему. Итак, он заплатил восемь пенсов, и мы с ним расстались, уговорившись наперед, что я приду к нему вечером «на квартиру». «Помещение у меня плоховато, — объяснил он мне, — но я уверен, что вы не обратите внимания на неудобства в такой квартире, где живет холостяк. Это помещение мне подходит… в настоящее время».

Провести ночь, слушая, как сумасшедший читает роль Ромео — перспектива не особенно приятная, но у меня не хватило духу обмануть этого беднягу, даже и в том случае, если бы я не дал ему слова, и поэтому, просидев вечер совершенно спокойно — что было для меня необычной роскошью — и посмотрев на других актеров, старавшихся меня позабавить, я отправился разыскивать Мэта по тому адресу, который он мне дал.

Дом, в котором он жил, стоял на узеньком дворе и находился позади Нового Проезда. Парадная дверь стояла отворенной

настежь, несмотря на то, что было уже двенадцать часов ночи и на дворе очень холодно. На приступке лежал, свернувшись, ребенок, а в коридоре спала какая-то женщина. Пробираясь ощупью в темноте, я наткнулся на эту женщину. Казалось, она привыкла к тому, чтобы по ней ходили, потому что она безучастно подняла голову и затем сейчас же заснула опять. Мэт сказал мне, что он живет на самом верху, а поэтому я поднимался вверх до тех пор, пока не кончилась лестница; тут я остановился и посмотрел вокруг себя. Увидя свет в одной из комнат, я заглянул в полуотворенную дверь и увидал странного субъекта, одетого в костюм ярких цветов, с длинными, падающими на плечи, волосами, который сидел на краю сломанной кровати. Сначала я не мог понять, что это значит, но скоро сообразил, что это Мэт, вполне загримированный для роли Ромео, и вошел в комнату.

Несколько часов тому назад он показался мне очень странным, страннее, чем когда-либо, но теперь его суровое, загримированное лицо и его большие глаза, которые показались мне еще более дикими, чем прежде, положительно пугали меня. Он протянул мне свою худую белую руку, но не встал с места.

— Извините, что я не встаю, — сказал он; он говорил медленно и слабым голосом. — Я сам не знаю, что со мной делается. Мне кажется, что я буду не в состоянии репетировать роль. Очень жалею, что пригласил вас к себе понапрасну, но вы непременно должны прийти ко мне в другое время.

Я уложил его в постель в том костюме, в каком он был, и покрыл его лежавшим на постели старым тряпьем. Несколько минут он лежал смирно, но потом поднял глаза кверху, посмотрел на меня и сказал:

— Я не забуду вас Л., когда мои дела поправятся. Вы относились ко мне хорошо, когда я был беден, — я не забуду этого, друг мой. Скоро представится мне благоприятный случай… очень скоро, и тогда…

Он не кончил фразы, но начал бормотать про себя разные отрывки из своей роли и скоро заснул. Я вышел потихоньку из комнаты и пошел отыскивать доктора. Наконец мне удалось поймать одного эскулапа, и я пошел вместе с ним на чердак, занимаемый Мэтом. Мэт все еще спал; сделав все, что только я мог и уговорившись насчет его с доктором, я ушел, потому что на следующий день, рано утром, я должен был отправиться в путь.

Я не надеялся больше увидать Мэта, и действительно после этого я уже никогда не видал его. Те люди, которые долгое время живут на шесть шиллингов в неделю, задумав умирать, умирают скоро, и через два дня после того, как я видел сумасшедшего

Мэта, ему представился благоприятный случай, которым он и воспользовался.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Квартиры и квартирные хозяйки

На Главной Восточной железной дороге с меня взяли лишнего за корзину, и с тех пор я возненавидел эту спутницу. Бесспорно, весу в ней было больше нормы, но актеры доставляют такой хороший доход железным дорогам, что если их багаж и весит несколько более, чем следует, то обыкновенно на это не обращают внимания. Но Бишопсгэтские злодеи были неумолимы. Напрасно я старался убедить их в том, что корзина «легка, как перышко». Но они поставили-таки на своем, — сунули ее боком на какую-то трясущуюся железную дощечку и клали что-то такое, отчего шест поднимался и опускался; а потом дали мне, неизвестно для чего, лоскуток бумажки, на котором стояло «4 шиллин. 4 пенса»; я объяснил им, что мне этого не нужно, но они всучили мне этот лоскуток, как будто бы я нарочно просил их об этом.

Местом моего назначения был маленький торговый городок в одном из восточных графств, куда я приехал около полудня. Из всех городов, в которых мне приходилось когда-либо бывать, этот город можно было бы назвать мертвым городом по преимуществу, несмотря на то, что тут жили люди. Таковы все города в восточных графствах, — они более или менее и мертвые, и в то же время живые, и скорее первое, чем последнее, но тот город, в который я приехал, был олицетворением скуки.

У вокзала не было ни души. На вокзальном дворе стоял один только кэб, в который была впряжена хромоногая лошадь; эта последняя, со своею опущенной головою и согнутыми ногами, изображала собою картину покорившегося судьбе несчастья; но возница куда-то исчез, — может быть, его смыл дождь, который лил как из ведра, не переставая.

Оставив свои вещи на вокзале, я пошел прямо в театр. Дорогой я заметил две или три зеленых афиши, озаглавленных: «Королевский театр»; в них говорилось, что известный всему миру трагик из Дрюри-Лэна будет сегодня вечером великолепно исполнять свои роли в «Ричарде III-м» и «Идиоте-свидетеле». Жителей города, ради их собственной пользы, просили «приходить пораньше». Когда я пришел в театр, то вся труппа была уже в сборе на сцене, и актеры имели такой же мрачный вид, как и сам город. У всех них был насморк, не исключая и антрепренера, «известного всему миру трагика из Дрюри-Лэна», который, кроме этого, страдал еще и невралгией в лице (tic

douloureux).

После того как были прорепетированы на скорую руку трагедия, мелодрама и шутка, которые давались в этот день вечером (до моего приезда все мои роли пересылались мне по почте), я отправился разыскивать себе квартиру, так как пришел к убеждению, что мне одному будет веселее, нежели в обществе какого-нибудь актера из этой труппы.

Когда переезжаешь из одного города в другой, то нельзя сказать, чтобы отыскивание квартиры было особенно приятным делом. Это значит, что человек должен проходить час или два взад и вперед по глухим улицам, поглядывать искоса на окна, стучаться в двери и ждать на подъездах. Все это время вам представляется, что за вами следят все жители улицы, что они считают вас или за обманщика с просительными письмами, или за сборщика водяного налога, а потому относятся к вам с презрением. Вы только тогда и найдете подходящее помещение, когда перебываете во всех тех, которые вам не подходят. Если бы только можно было начать с конца и идти в обратном порядке, то поиски прекратились бы сразу. Но почему-то всегда случается, что вам это не удается и вы бываете принуждены идти обычным путем. Во-первых, есть такие комнаты, за которые запрашивают вдвое против того, сколько вы можете дать, и тут вы говорите, что зайдете опять и что вам нужно наперед повидаться с одним приятелем. Потом есть такие комнаты, которые только что сдали, или сейчас сдадут другому, или же сейчас не сдают. Есть такие комнаты, в которых вы должны спать в одной постели с другим джентльменом, а этот другой джентльмен оказывается или бильярдным маркером из отеля напротив, или же каким-нибудь получающим поденную плату фотографом.

Есть такие хозяева, которые не пустят вас к себе потому, что вы не женаты и с вами нет жены, или же потому, что вы — актер; хозяева, которые требуют, чтобы вас целый день не было дома, или такие, которые требуют, чтобы вы возвращались домой в десять часов вечера. А затем бывает и так, что вам отворит дверь какая-нибудь одетая неряшливо женщина, а за ней бежит целая куча грязных ребятишек, которые держатся за ее юбку и смотрят на вас с немым ужасом, очевидно думая, что вот и на самом деле пришел тот «большой страшный человек», которым их так часто пугают; или выйдет какой-нибудь дурак — муж, который почешет в голове и скажет, что вам лучше зайти в другой раз, когда будет дома «хозяйка»; или же — что раздражает всего больше — хозяйка, когда вы уйдете, остановится в дверях и будет смотреть вам вслед, так что у вас пройдет охота смотреть квартиры в других домах на этой улице.

Я был готов ко всему этому, когда отправился отыскивать квартиру, но мне не было суждено испытать это мучение. В настоящем случае я был избавлен от затруднения выбрать себе квартиру по той простой причине, что совсем не было таких комнат, которые отдавались бы внаймы. По-видимому, жителям этого прелестного места никогда и в голову не приходила мысль о том, что кто-нибудь пожелает нанять здесь квартиру, чему я нисколько не удивляюсь. Были две гостиницы на Гай-стрит, но провинциальные актеры не имеют достаточных средств для того, чтобы жить в гостинице, хотя бы и недорогой, а «меблированных комнат» или же «комнат с кроватью для одиноких джентльменов» и совсем не было. Я исходил все улицы в городе, но нигде не нашел ни одного билетика, а затем прибегнул к последнему средству — пошел в булочную для того, чтобы справиться.

Я, право, не знаю, отчего булочники должны лучше других торговцев знать семейные дела своих соседей, но почему-то я всегда думал, по крайней мере, думал до тех пор, пока мое мнение не было сразу опровергнуто. Я спросил у двух булочников, но оба они только покачали головой и сказали, что не знают никого из обывателей, кто бы сдавал внаймы комнаты. Я был в отчаянии, но на Гай-стрит, осматривая дома, я увидал, что в дверях магазина модистки стоит какая-то особа с очень приятным личиком и смотрит на меня с улыбкою.

Это внушило мне некоторую надежду, я также улыбнулся и спросил у обладательницы приятного личика, не может ли она порекомендовать мне какую-нибудь квартиру. Обладательница приятного личика была, по-видимому, удивлена этим вопросом.

— Разве monsieur намерен поселиться в городе?

На это monsieur ответил, что он — актер. Madame была приведена в восторг и улыбнулась еще приятнее, чем прежде. Madame так любила театр. Но она так давно не была ни в одном театре, о, так давно… не была с тех пор, как она выехала из Риджент-стрит, — Риджент-стрит в нашем Лондоне. А знает ли monsieur Лондон? Тогда она бывала во многих театрах, которых там и не сочтешь. И в Париже тоже. Ах, Париж! Ах, парижские театры! Ах! Но здесь, куда же пойдешь? Этот город такой сонный, такой глупый. Мы, англичане, такой скучный народ. Ее мужу было все равно. Он тут родился. Он любил скуку, — он называл ее однообразием. Но madame любила веселье. А этот город был такой невеселый.

При этом madame сложила свои ручки — а у нее были прехорошенькие маленькие ручки, — и имела такой несчастный вид, что monsieur почувствовал сильное желание взять ее в свои объятия и утешить. Но он одумался и сдержал свой

великодушный порыв. Затем madame объявила о своем намерении отправиться в театр в тот же вечер и пожелала узнать, какие идут пьесы.

Когда monsieur объявил ей, что «известный всему свету трагик из Дрюри-Лэна будет великолепно исполнять свои роли в «Ричарде III — м» и «Идиоте-свидетеле»», то это, по-видимому, произвело на нее большое впечатление, и она думала, что это — комедия. «Посмеяться над тем, что забавно, — повеселиться, это так приятно.»

Monsieur подумал, что madame покажется многое смешным в великолепном исполнении «Ричарда III — го» и «Идиота-свидетеля», даже если она найдет шутку немного тяжеловесной, но он не сказал этого вслух.

Затем madame напомнила monsieur, что он ищет квартиру. Madame взяла в ротик кончик указательного пальца, наморщила брови и сделалась серьезна. «Да, тут есть мисс Кемп, она иногда пускала к себе постояльцев. Но мисс Кемп такая строгая, такая требовательная. Она требует, чтобы все вели себя хорошо. А хорошо ли ведет себя monsieur»? — Это было сказано с такой улыбкой, которая выражала сомнение.

Monsieur осмелился было высказать такое мнение, что всякому мужчине достаточно посмотреть в глаза madame пять минут для того, чтобы сделаться святым. Мнение monsieur было осмеяно, но, несмотря на это, ему дан был адрес мисс Кемп, к которой он, заручившись рекомендацией своей очаровательной знакомой француженки, и отправился.

Эта мисс Кемп была старая дева и жила совершенно одна в маленьком треугольном домике, стоявшем на заросшем травою дворе, за церковью. Это была чистенькая старушка, с быстрым взглядом и острым подбородком. Вскинув голову, она быстро оглядела меня с головы до ног и потом сказала, что, вероятно, я приехал в город для того, чтобы работать.

— Нет, — отвечал я, — я приехал для того, чтобы играть. Я — актер.

— О, — сказала мисс Кемп, а потом прибавила строгим тоном: — Вы женаты?

Я с неудовольствием опровергнул это предположение.

Вслед за этим старушка попросила меня войти в комнаты, и мы с ней скоро подружились. Я всегда схожусь со старухами. После молодых я люблю их больше всех других особ женского пола. Да к тому же мисс Кемп была очень милая старушка. Несмотря на то, что она была старой девой, она высказала по отношению ко мне материнскую заботливость — так печется о своих цыплятах курица, ходящая на дворе у амбара. Я сказал, что

пойду купить чего-нибудь к чаю и схожу за своей корзиной, но она не хотела об этом и слышать.

— Да что вы, дитя мое, — сказала она, — идите скорее и снимайте мокрые сапоги. Я пошлю кого-нибудь за вашим багажом.

И мисс Кемп заставила меня снять пальто и сапоги и сидеть у камина с ногами, закутанными в платок, а сама она в это время поджаривала ломтики хлеба, резала мясо, гремела чайным прибором и болтала.

Я жил у мисс Кемп только одну неделю, потому что труппа пробыла в городе не более недели, но я долго не забуду этой необыкновенной старой девы, с ее суетливостью и добрым сердцем. Я еще и теперь вспоминаю чистенькую кухню, где весело горит огонь, решетка у печи так и блестит, а перед огнем лежит, развалившись, толстый мурлыкающий кот. На столе стоит ярко горящая лампа старинного фасона, а между столом и огнем сидит на своем стуле, с высокой спинкой, и сама маленькая старушка с чулком в руках; на коленях у нее лежит раскрытая Библия. Я желаю, чтобы эта картина оставалась и теперь в том виде, в каком я видел ее тогда, и пусть останется такою же многие годы.

Должно быть, мне выпало особенное счастье, что я нападал на таких хороших хозяек, а то они бывают, по большей части, злобными женщинами. Мне часто приходилось иметь с ними дело и, говоря вообще, они были ко мне добры, предупредительны и никогда не выжимали из меня копейку, — совсем наоборот. Мне всего лучше жилось у провинциальных хозяек, но даже и между лондонскими хозяйками, которые, вообще, далеко не так симпатичны, как их провинциальные товарки по профессии, мне никогда не приходилось встречать наводящего страх типа солдата в юбке, о котором я так много слышал.

Может быть, читателю покажется странным, что я защищаю квартирных хозяек, так как их обвиняют во многом, но справедливость требует, чтобы я высказал то, что пришлось испытать мне самому. У них есть свои недостатки. Они грубо обходятся с прислугой (но в этом случае и прислуга говорит им дерзости, так что, может быть, прислуга только платит им тою же монетой), непременно хотят сами жарить котлеты и так много говорят, что хоть бы впору какому-нибудь ирландскому члену парламента. Они непременно расскажут вам обо всех своих огорчениях и заставляют вас дожидаться завтрака, который приготовляют сами. Они не устают перечислять все, что они сделали для какого-нибудь неблагодарного родственника, приносят огромную пачку относящихся сюда писем и выражают желание, чтобы вы их прочли.

Они также надоедают вам до смерти, рассказывая каждый день со всеми подробностями о том, что сказал или сделал один безупречный молодой человек, бывший когда-то их постояльцем. По-видимому, этот молодой человек был совсем подавлен необычайной добротой упомянутой хозяйки. Он много раз говаривал ей со слезами на глазах: «Ах, миссис такая-то, вы были для меня больше, чем мать», и при этом он жал ей руку и говорил, что ничем не может заплатить ей за ее доброту. Последнее оказывалось верным, потому что в конце концов он обыкновенно уезжал от нее, задолжав ей порядочную сумму.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Я играю в постоянной труппе

Мне жилось очень плохо в той труппе, в которую я теперь поступил. Какова была эта труппа, мы узнаем из следующих выдержек:

…— Дорогой Джим. Если я останусь долго в этой труппе, то, наверно, сойду с ума (ты, может быть, скажешь, что это не трудно, так как ума у меня немного). Мне нужно поскорее уйти отсюда. Дело поставлено до такой степени плохо, что ты себе не можешь и представить. Театр Крэммлеса, по сравнению с тем, как ведется дело у нас, покажется настоящей Comedie Francaise. У нас нет ни режиссера, ни кассира. Если только это одно, то я не стал бы роптать, но мы должны сами расклеивать афиши, общими силами рисовать декорации и собирать у входа деньги, — хотя эта последняя обязанность не особенно трудна. У нас нет определенных амплуа. Мы все играем «ответственные» роли и последние распределяются между нами с полнейшим беспристрастием. Что касается жалованья, то и тут соблюдается восхитительное равенство: мы все получаем гинею. То есть, это в теории; в действительности же мы получаем различное жалованье, каждый, соответственно с умением приставать и требовать его; maximum, до которого доходит который-нибудь из актеров, это — пятнадцать шиллингов.

Но когда подумаешь, перед какой публикой мы играем, то остается только удивляться, что мы получаем и такое жалованье. Каждый вечер делается страшно, когда посмотришь на зрительную залу. Она так тускло освещена (потому что, в видах экономии, газ пускается только на одну четверть против нормы), что едва видно, как пройти, и так пуста, что в ней долго отдается всякий звук, и когда в какой-нибудь сцене говорят два лица, то представляется, что говорит целая дюжина. Вы ходите по сцене и видите, что перед вами разбросаны там и сям по партеру каких-нибудь двадцать человек; еще несколько человек облокотились на перила галереи и не слушают пьесы, потом виднеются две или три небольших группы в ложах, а фоном для этих пятен, какими представляются несчастные зрители, служат бросающиеся в глаза голые доски и мрачные кресла. При такой обстановке *играть* невозможно. Все, что только можно сделать, это дотянуть как-нибудь роль до конца, и зрители, которые, очевидно, все без исключения жалеют с самого начала представления о том, что пришли в театр — они даже и не думают этого скрывать —

бывают так же рады, как и мы сами, когда окончится пьеса. В каждом городе мы останавливаемся только на неделю и везде играем одни и те же пьесы, так что, само собою разумеется, теперь не нужно учить ролей и не бывает репетиций; но я жалею, что нет ни того, ни другого; все, что угодно, было бы лучше этого наводящего тоску однообразия.

Я мог бы догадаться, что это за труппа, судя по тем ролям, которые пересылались мне по почте. Я играю Дункана, Банко, Сейтона и убийцу в «Макбете», Тибольта и Аптекаря в «Ромео и Джульетте», Лаэрта, Осрика и второго актера в «Гамлете» и т. д. во всех пьесах. Никто из нас не играет меньше двух ролей в одной и той же пьесе. Только что нас убьют, или уберут куда-нибудь в качестве одного лица, как мы снова выходим на сцену в другой роли, и все это делается так скоро, что у нас почти нет времени на то, чтобы переменить костюм. Я иногда выхожу на сцену в совершенно новой роли в прежнем костюме и только наклеиваю себе бороду. Это напоминает мне того негра, который взял шляпу своего господина, воображая, что его примут за «одного из этих белых». Я думаю, что если бы зрители — если только в театре были бы зрители — постарались вникнуть в пьесу, то им сделалось бы очень смешно; а если бы они были хотя сколько-нибудь знакомы с произведениями нашего национального поэта, то они были бы еще более озадачены. Мы так исправили оригиналы, что их не узнал бы сам Шекспир. В пьесах только одна треть принадлежит Шекспиру, а две трети — известному всему миру трагику из Дрюри-Лэна.

Само собою разумеется, что я так и не получил денег за проезд по железной дороге, хотя мне и обещали их отдать по приезде на место, и теперь я уже перестал их просить…

Через несколько недель мне представился случай переменить труппу, и едва ли нужно прибавлять, что я с радостью ухватился за него. Мы проезжали через один большой город, который был главным местопребыванием постоянной труппы, ездившей на гастроли только в ближайшие города; услыхав, что оттуда недавно ушел один из актеров, игравший «ответственные» роли, я пошел прямо к антрепренеру, предложил свои услуги и был принят. Разумеется, мне следовало бы предупредить прежнего антрепренера за две недели, как всегда делается, но в настоящем случае он едва ли мог требовать этого. Итак, я подарил известному всему свету трагику из Дрюри-Лэна все недоплаченное им мне жалованье — при такой щедрости с моей стороны мы с ним оба осклабились — и сейчас же ушел от него. Я не думаю, чтобы он очень жалел обо мне. Благодаря этому, у него каждую неделю оставалось несколько шиллингов в кармане,

потому что мое место было замещено одним музыкантом из оркестра, так что в оркестре осталось только два человека.

Та труппа, к которой я теперь принадлежал, была одною из очень немногих постоянных трупп, которые в это время еще оставались в провинции. Тогда уже прочно установилась другая система и были в ходу странствующие труппы, которые поэтому вытеснили труппы старого типа, которые из года в год играли обыкновенно все в одном и том же тесном кругу и считались как бы учреждением в каких-нибудь посещаемых ими шести городах. Я не стану говорить здесь о сравнительных достоинствах или недостатках той и другой системы. У каждой из них есть выгодные и невыгодные стороны, не только с точки зрения «школы», но также личных интересов актера и удобств для жизни. Я скажу только одно относительно последней из этих систем, что я лично предпочитал суетню и разнообразие при переезде из одного города в другой.

И действительно, несмотря на все неизбежные при путешествии заботы и неприятности именно в этой постоянной перемене — в этой беспрестанно меняющейся панораме различных сцен и обстоятельств, среди которых я находился, и заключалась для меня главная прелесть жизни актера. В молодости всегда приятна перемена, какого бы рода она ни была, как в большом, так и в малом. В это время в нашем прошлом еще не было тех разочарований, которые могли бы охладить нас и заставить отнестись скептически к тем благоприятным случаям, которые, может быть, готовит нам будущее. Молодой человек смотрит на всякую перемену, как на новый случай испробовать свои силы. При каждом новом отправлении в путь воображение рисует ему более блестящий успех и при каждом новом повороте дороги он надеется дойти до цели.

В каждом новом городе, в который я приезжал, и во всякой новой труппе, в которую я поступал, мне представлялся и новый случай выказать свой талант. Тот гений, который был не понят известной публикой, мог быть признан и оценен другой. И относительно других, менее важных вещей я также всегда питал надежду, что они изменятся к лучшему. Может быть, думалось мне, я найду в новой труппе приятных собеседников, задушевных приятелей, может быть, актрисы будут необыкновенно милы, а деньги вернее. Самое путешествие, возможность видеть незнакомые города и деревни, играть в разных театрах, жить на различных квартирах, случайно проезжать через Лондон и заглянуть домой, все это способствовало тому, чтобы я находил наслаждение в жизни такого рода и вполне примиряло меня со многими ее неприятными сторонами.

Но жить безвыездно, в продолжение почти шести месяцев, в скучном провинциальном городе, не имея другого развлечения, кроме карточной игры и сплетен в общей зале какого-нибудь трактира, — это не доставляло мне никакого удовольствия. Вероятно, пожилые или женатые оставались довольны такой жизнью. Они, или, по крайней мере, некоторые из них, родились в этой труппе, женились на актрисах из этой труппы и надеялись играть до самой смерти в этой труппе. Они были известны во всем округе. Они интересовались городами этого округа, города также интересовались ими и жители приходили на их бенефисы. Они постоянно приезжали на одну и ту же квартиру. Они не могли забыть места, где они жили, что иногда случается со странствующим актером в первый день его приезда в новый город. Они не были никому неизвестными бродягами, ходящими из одного места в другое и не находящими себе приюта; они были гражданами, жившими среди своих друзей и родственников. Они привыкли к каждому стулу в своих комнатах. Их квартира была не просто меблированными комнатами, но «своим углом», если только может быть «свой угол» у провинциального актера.

Не подлежит сомнению, что они «любили скуку», как сказала бы madame, но я, полный сил молодой холостяк, находил этот город «о, таким невеселым», но хотя я и находил его невеселым, я прожил здесь пять месяцев, в продолжение которых я, как кажется, написал громадное число писем многострадальному Джиму. Но то в них, о чем следует здесь упомянуть, заключается в следующих выдержках:

…Теперь мне уже не так трудно, как прежде. Было очень трудно в начале, так как мы меняли афишу почти через день, но теперь я овладел репертуаром и выучил все роли, которые я должен был играть. Но бывает нелегко и теперь, когда идет чей-нибудь бенефис, в особенности, когда ставится какая-нибудь пьеса из современной жизни, потому что в этом случае мне, как актеру, имеющему хороший гардероб, дают обыкновенно играть «джентльменскую роль», а такая роль всегда довольно длинна. Роль оказывается еще более трудной потому, что здесь всякий актер прибавляет от себя. Здесь никто не говорит по книге. Актеры начинают говорить то, чего нет в оригинале, и тут я совсем погибаю, и не знаю, где я, на каком месте.

Недавно мне дали очень длинную роль, которую я должен был играть на следующий день. Я просидел над ней почти всю ночь. Утром, на репетиции, наш характерный комик, с которым мне приходилось играть в этой пьесе больше, чем со всеми другими действующими лицами, спросил меня, как идут мои дела. «Да я думаю, что знаю немножко роль, — отвечал я, по

крайней мере, я отлично выучил реплики». — «О, пожалуйста, не хлопочите о репликах», — весело сказал он мне в ответ. — «От меня вы не услышите ни одной реплики. Я теперь говорю свои собственные слова. Обращайте внимание только на смысл».

Я стал обращать внимание только на смысл, но божусь тебе, что не нашел никакого смысла в том, что он говорил. Слова были его собственные, это не подлежало сомнению. Я и сам не знаю, как я справился с этим. Когда я запинался, то он помогал мне, делая намеки вроде следующих: «Продолжайте; говорите то, что у вас сказано об отце», или: «А сказали вы мне то, что говорила Сарра?»

Пожалуйста, купи мне пару подержанных триковых панталон у Стинчкома, прикажи их вымыть и пришли ко мне. Если они будут и очень поношенные, то это ничего. Мне они нужны для того, чтобы надевать их под другое трико. В будущий понедельник я должен выходить на сцену в черном трико. От него ноги кажутся страшно худыми, а они у меня и без того не очень то толсты.

Я приобрел себе пару сапог, которым цены нет (впрочем, они и должны быть такими, потому что я заплатил за них пятнадцать шиллингов). Если их растянуть в настоящую длину, то они доходят почти до талии — это американские ботфорты; с отворотами из опойка, с золотым галуном и кисточкой — это высокие старинные сапоги; с отворотами из цветной кожи вместо золотого галуна и кисточки — охотничьи сапоги; со сборами у щиколотки и раструбами в верхней части голенища, они — сапоги времен Карла или Кромвеля, смотря по тому, есть-ли на них украшение — золотой галун и бант, или нет. Но за ними надо следить зорко, потому что они имеют обыкновение, без твоего ведома, принимать совершенно другой вид, так что в то время, когда ты храбришься и поднимаешь одну ногу в таком сапоге, какие бывают у разбойника на большой дороге, другая твоя нога щеголяет в сапоге времен «кавалеров». Мы здесь очень хорошо загримировываемся для пьесы. При театре есть прекрасный гардероб.

Я, право, желал бы, чтобы афиши составлялись людьми, понимающими дело, а не кассирами. Если случится так, что кассир, почему-нибудь, не поставит твоей фамилии против чужой роли, то он непременно поставит ее против роли не существующей: если же ему удастся против известной роли поставить соответствующую фамилию, то фамилия будет исковеркана. Тут есть одно премилое созданье, ты это знаешь; меня оштрафовали на полкроны за то, что я не пришел на репетицию. А ведь я был все время там, это только через дорогу, и

когда я вернулся, то репетиция была уже окончена. Во всем виноват наш дурак суфлер: он знал, где я нахожусь. Я ему за это отплачу…

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Мщение

Вот дальнейшие выдержки:

…Кажется, мне придется побеспокоить тебя просьбой купить мне другой парик. Я думал, что мои собственные волосы годятся для того, чтобы играть роли современных молодых людей, но у нас думают, что они для этого слишком темны. «Будьте добродетельны, и у вас будут волосы цвета кудели», таково, по-видимому, основное правило всей театральной морали. Мне хотелось бы соблюдать такую же экономию в париках, какую соблюдает наш Первый Старик. Он выходит в одном парике во всех пьесах. Он надевает его как следует, когда бывает серьезным стариком и задом наперед, когда ему нужно быть смешным.

Заговорив о париках, я припомнил то, что случилось недавно с нашим антрепренером. Ему уже за пятьдесят, но он воображает себя чем-то вроде Чарльза Мэтьюс и играет роли jeune premier'ов. И вот в субботу вечером он вышел на сцену в одной старинной английской комедии, в роли любовника; на голове у него была одета одна из этих огромных треуголок. «Кто этот прекрасный собою молодой человек с белокурыми волосами?» — спрашивает героиня у своей наперсницы. «О, этот, — да это сэр Гарри Монфор, храбрый молодой дворянин, который спас государю жизнь. Он самый молодой из всех офицеров в лагере, но уже и теперь самый известный между ними». «Доблестный молодой человек, — бормочет про себя героиня, — мне бы хотелось поговорить с ним. Позови его сюда, Элеонора». И вот Элеонора позвала его сюда, и он вприпрыжку подбежал к героине. Когда героиня говорила с ним, то он по своей юношеской застенчивости, очень сконфузился. «Ах, madame» — говорил он вздыхая, сняв свою шляпу и кланяясь чуть не до земли… «Что за черт! Над чем так смеется публика? Ах, ты…».

Вместе со шляпой он снял и парик, и бедная, старая, плешивая голова «доблестного молодого человека» обнажилась на потеху не умеющей себя сдерживать публики.

На прошлой неделе я совсем было собрался приехать ненадолго в Лондон. Моей фамилии не было на афише целых три вечера сряду. Но за проезд по железной дороге мне пришлось бы заплатить почти половину недельного жалованья, поэтому я удовольствовался поездкой в Р. и побывал в тамошнем театре. Я встретился с В. Он женился на маленькой Нолли, которая была «Гостьей» в ***. Она теперь в Абердине и он не видал ее целых

три месяца. Это тяжело для молодой четы, — еще нет года, как они женаты. Пожилые актеры переносят такие вещи очень легко, но бедный В. очень огорчен этим. Они жили вместе, пока была возможность, но дела пошли так плохо, что они принуждены были расстаться, и каждый из них взял первый попавшийся ангажемент…

Ты помнишь, я рассказывал тебе, как наш суфлер подвел меня под штраф за то, что я тогда не пришел на репетицию. Я сказал, что отплачу ему за это, и действительно отплатил. Или лучше сказать, мы отплатили — то есть я и еще один из актеров, который что-то имел против него потому, что он — человек надутый, во все сует свой нос и всем противен. Он по уши влюблен в одну девицу, мисс Пинкин, отец которой держит железную лавку рядом с театром. Старик ничего не знает об этом, и влюбленные прибегают ко всевозможным хитростям для того, чтобы иметь возможность поговорить друг с другом. А одно из окон в нашей уборной приходится как раз напротив окна, освещающего лестницу, которая ведет в их квартиру, так что суфлер и молодая девушка часто переговариваются через окно; раз или два он перекинул из одного окна в другое доску, и по ней пробрался в дом, в то время, когда не было отца. Ну так вот, мы недавно нашли клочок бумажки, на котором было что-то написано ее рукою и, подделавшись под ее почерк, написали ему письмо, в котором говорилось, что отец ее ушел из дома, что ей очень нужно его видеть и чтобы он влез через окно в дом и ждал ее на площадке до тех пор, пока она не выйдет на лестницу. А потом, перед самой репетицией, мы вышли на улицу и дали одному уличному мальчишке два пенса с тем, чтобы он отнес это письмо к нему.

Само собою разумеется, как только мы увидали, что он благополучно пробрался в дом и скрылся из глаз, то мы сейчас же втащили в уборную доску и затворили окно. По мере того как время проходило, на сцене становилось очень шумно. «Где этот ***!» кричал с сердцем режиссер. «Где этот черт ***! Это очень скверно с его стороны, что он заставляет всех нас ждать столько времени». А потом послали рассыльного мальчика в четыре питейных заведения, затем к нему на квартиру, потому что книга была у него в кармане и без него мы не могли начать репетицию. «О, это очень скверно с его стороны, что он ушел и задержал репетицию, — закричал опять режиссер после того, как прошло еще полчаса. Я оштрафую его за это на пять шиллингов. Я не позволю себя дурачить». — Он вернулся приблизительно через час и на всех бросал молниеносные взгляды. Он не хотел давать никаких объяснений. Мы только и могли добиться от него одного,

что если он найдет человека, который это сделал, то свернет ему шею.

Из того, что мальчик торговца железом рассказал нашему рассыльному, мы узнали, что дело происходило по-видимому таким образом: он прождал на лестнице целых три четверти часа, не смея шевельнуться, а затем старик, который поднимался по лестнице, пожелал узнать, что он тут делает. Потом в доме поднялся настоящий скандал и девушка побожилась, что она никогда не будет больше говорить с ним за то, что он ее со всеми перессорил, а четверо из ее родственников, мужчины громадного роста, выразили твердое намерение переломать ему все ребра; и мальчик прибавил, что, насколько он их знает, они способны сдержать свое слово. Мы сочли нашим долгом сообщить обо всем этом суфлеру…

Дальше я не нашел в письмах ничего такого, что бы относилось к театру, до тех пор, пока не перешел к следующему, написанному приблизительно через четыре месяца после того, как я поступил в труппу:

…Я не мог написать на прошлой неделе, потому что был очень занят. Это было что-то ужасное. К нам приехал сюда на две недели N — знаменитый актер из Лондона. Его репертуар состоит из восемнадцати пьес — восьми «законных», пяти драм, четырех комедий и одного фарса; а нам на приготовление была дана только одна неделя. Репетиции были в десять часов утра, и в три часа, и в одиннадцать часов, по окончании представления. Я, прежде всего, взял назначенные мне роли и выучил их одну за другой. Потом я увидал, что все они у меня перемешались в голове и чем больше я старался припомнить, что принадлежит к какой роли, тем больше я позабывал, что к чему относится. На репетиции я говорил места из Шекспира в фарсе, а многое из того, что относилось к фарсу и некоторые фразы из всех пяти драм — в одной из комедий. И тогда режиссер принялся меня поправлять, но потом и сам запутался и спрашивал, не может ли кто-нибудь сделать такое одолжение — сказать ему, что собственно идет на репетиции; на что примадонна и Первый комик-буфф отвечали ему, что это одна из драм, но Второй комик-буфф, субретка и дирижер оркестра утверждали, что это комедия, между тем как все мы, остальные, были так озадачены, что совершенно не могли судить о чем бы то ни было.

От этого напряжения я так измучился, что и сам не знаю, на голове я стою или на ногах; а наш Первый Старик… ну да о нем я буду говорить после. Мне было особенно трудно потому, что вследствие несчастья, случившегося с нашим «Гостем», я должен был заменить и его. Он играл какую-то роль, в которой кто-то —

кажется «Отец семейства» — старается заколоть его в то время, когда он спит. Но именно в тот момент, когда мнимый убийца кончает свой монолог и хочет нанести удар, он просыпается, вскакивает, и между ними завязывается страшная борьба. Я думаю, что в этом последнем случае второй актер был пьян. Но как бы то ни было, все это было проделано очень неловко и у Р., нашего «Гостя», был вырезан глаз и теперь он обезображен навек. Теперь он уже не может оставаться на своем старом амплуа и должен будет играть отцов семейства, или в буффе, или, вообще, такие роли, в которых наружность не имеет значения. Бедняга страшно огорчен; это его «подрезало» — не подумайте, что я хочу сделать каламбур из этого ужасного случая — и, кажется, больше всего раздражен против меня за то, что я его заместил; но, право, ему не следует раздражаться; если его несчастье принесло мне какую-нибудь выгоду, то эта выгода слишком ничтожна сравнительно с тем, сколько мне прибавилось дела; и я думаю, что, вообще, так как приехала еще и эта знаменитость, мне было бы гораздо приятнее оставаться при своих ролях. Я знал многие из ролей, которые я должен был играть, но теперь пришлось все учить вновь.

Я хотел рассказать тебе о нашем Старике. Он всегда хвастался тем, что за последние десять лет совсем не учит ролей. Я, право, не знаю, в чем тут заслуга, что он этим так гордится, но нет сомнения, что он считал это замечательно искусным со своей стороны; и он дошел даже до того, что стал презирать всякого актера, который учит свои роли. Поэтому ты можешь себе представить, что было с ним, когда ему вручили шестнадцать длинных ролей, а из них, по крайней мере, одиннадцати он никогда и не видал, и потребовали, чтобы он знал их все в совершенстве к следующему вторнику. Все заметили, что он тут много не разговаривал. Он, вообще, был очень словоохотливым стариком, но, взглянув на сверток ролей, он сделался задумчивым и рассеянным и не присоединился к тому хору проклятий, которые очень энергично и вслух, и про себя повторяли остальные актеры труппы. Единственный человек, к которому он обратился, это был я: случилось так, что я стоял у двери, ведущей на сцену, в то время, когда он уходил из театра. Он вынул сверток ролей из кармана и показал его мне. «Что, маленький сверточек, а? — сказал он. — Я сейчас пойду домой и все их выучу, — вот что я сделаю». Затем он улыбнулся — какой-то грустной, слабой улыбкой — и медленными шагами вышел на улицу.

Это было в субботу вечером, а в понедельник, в десять часов утра, мы собрались на репетицию. До одиннадцати мы

репетировали без старика; затем, так как он не пришел, а присутствие его было необходимо, к нему был послан на квартиру мальчик, чтобы узнать, дома ли он. Мы прождали терпеливо и еще четверть часа, после чего мальчик вернулся.

Никто не видал старика с воскресенья.

Когда его квартирная хозяйка уходила поутру из дома, то он был у себя в комнате и просматривал «роли», а когда она вернулась вечером, то его уже не было. В его комнате было найдено адресованное на ее имя письмо, которое она дала мальчику, чтобы он отнес его в театр.

Режиссер взял это письмо и проворно развернул. Прочитав первые строки, он вздрогнул и вскрикнул от ужаса; а когда он прочел его до конца, то оно выпало у него из рук и он опустился на ближайший стул, пораженный и ошеломленный, как человек, который узнал какую-то ужасную новость, но не может хорошенько сообразить в чем дело.

Мною овладело какое-то предчувствие, от которого меня проняла дрожь и сжалось мое сердце. Мне живо припомнился странный, рассеянный взгляд и та спокойная, грустная улыбка, которую я видел в последний раз на лице старика, и это приняло теперь в моих глазах новое и ужасное значение. Он был стар и слаб. У него не было той выносливой юношеской силы, при которой человеку нипочем труд и утомление. По всей вероятности, у него никогда не было большого ума. Не было ли это неожиданное и трудно исполнимое требование, чтобы он работал, причиной того, что ум его окончательно расстроился? И не поднял ли бедный старик, в минуту безумия, «оружия против целого моря бедствий и, сопротивляясь им, не положил ли им конец?»[7] Не лежит ли он теперь где-нибудь в кустах, с зияющей раной во всю ширину горла, или не спит ли последним сном где-нибудь в глубине под водой, служащей ему вместо покрывала? Может быть, то что лежит передо мною — это замогильное послание. Все эти мысли промелькнули у меня в уме с быстротою молнии, когда я бросился его поднимать. Вот что было в нем написано:

«Милая мисс Гопсэм, — я уезжаю в Лондон с поездом, отходящим в 3 ч. 30 м., и не вернусь назад. Я напишу и дам вам знать, куда переслать мои вещи. У Джеппа осталась пара моих сапог, которые я ему отдал для того, чтобы подшить носки — пожалуйста, возьмите их от него; а потом еще на прошлой неделе мне не подана была одна ночная сорочка; на ней стоит метка Д. Если за мной пришлют из театра, то скажите им, что я отправляюсь к черту и если они хотят, чтобы в одну неделю было выучено шестнадцать ролей, то пусть наймут чугунного актера.

Преданный вам Д.»

Прочитав эти строки, я почувствовал большое облегчение, но, по-видимому, письмо не очень-то успокоило режиссера. Когда он пришел в себя от удивления, то начал говорить по адресу старика такие вещи, которых я повторять не стану. И такая-то, скажу я тебе, поднялась у нас суматоха! Наш премьер, который лишившись на время занимаемого им положения, утешал себя мыслью, что все это время он ничего не будет делать, а только сидеть каждый вечер в переднем ряду кресел и поднимать на смех знаменитость, должен был заменить собою Первого Старика; не скажу, чтобы он был от этого в хорошем настроении. Теперь стараются во что бы то ни стало обесцветить человека. Через неделю к нам приедет другой старик, но это будет слишком поздно, так как он не поспеет к тому времени, когда у нас идет самая трудная работа. N тогда уже от нас уедет…

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Исполнение ролей

Я приведу выдержки еще из двух писем и затем покончу с этой постоянной труппой. Первое из них было написано немедленно после того, как закатилась наша «звезда» — или, лучше сказать, передвинулась в другой город — второе же двумя неделями позже.

… N уехал в субботу. Пока он играл у нас, театр был битком набит все время, чему я не удивляюсь. Для этих, не видавших ничего хорошего, провинциалов, вероятно, было большим наслаждением видеть настоящее исполнение ролей. Не мудрено, что провинциальные жители относятся так равнодушно к театру, это потому, что они вместо настоящего исполнения роли видят плохую и грубую игру. Когда я слышу, что несут чепуху о том, будто провинция может служить великолепной школой для молодых актеров, то это меня страшно раздражает. Стоит только пожить в провинции каких-нибудь два месяца, чтобы уничтожить то понятие об исполнении роли, с каким актер сюда приехал. Если у него есть время подумать о чем-нибудь другом, кроме того, чтобы только выучить слова роли, то все равно — это ни к чему не приведет. Ему не позволят провести свои собственные идеи. Если он попытается *размышлять*, то его сейчас же попросят искать себе место в другом театре. Если он захочет быть хотя сколько-нибудь естественным или оригинальным, то это припишут незнанию. Он во всякой роли должен держаться рутины и традиции, — и какой рутины и традиции! Рутины театра Ричардсона и традиции наемного паяца, кричащего во все горло на дворе трактира. Чтобы подойти под уровень драматического искусства в провинции, нужно бывает не подняться выше, но спуститься вниз. Комизм состоит в том, чтобы у актера был красный нос и чтобы он спотыкался, ходя по сцене; если нужно бывает входить в пафос, то после этого целый час будешь говорить хриплым голосом; что же касается трагических ролей, то тому актеру, у которого нет таких здоровых легких, какие бывают у политического деятеля, лучше совсем и не браться за них.

Но с приездом N у нас все это переменилось. Он воодушевил каждого актера, и когда он был на сцене, то все остальные играли гораздо лучше, — я даже и не думал, что они способны так играть. Мне пришлось в первый раз играть с таким человеком, который может быть назван актером в собственном смысле слова,

и я испытывал совершенно новое чувство.

Со своей стороны я могу сказать, что играл совершенно не так, как играю обыкновенно. Казалось, что мне сообщалась его сила и его серьезное отношение к роли; сцена сделалась для меня почти действительностью и я начал «чувствовать» свою роль. А это самое большее, чего может достигнуть актер на сцене. Что же касается того, чтобы забыться и «быть именно тем лицом; которое представляет», то это нелепо. Я думаю, что здравомыслящий человек едва ли может утверждать это серьезно. Против такого мнения даже было бы смешно и спорить. Представьте себе целую труппу таких актеров, которые забудут, что они играют, и вообразят себя теми лицами, каких они изображают. Само собою разумеется, что они не будут обращать внимания ни на слова, ни на мимику. Все они будут говорить и делать то, что им покажется естественным, и в *такое время*, когда они сочтут это естественным; так что иногда все они заговорят вместе, а в другое время все будут молчать и не делать никаких движений. Такой энтузиазм, который их одушевляет, никогда не будет способен подчиниться требованиям жалкой сценической иллюзии. Они перескочат через рампу в оркестр, прямо на голову музыкантам и станут прислоняться к декорациям, изображающим горы в глубине сцены. Это будет великолепным исполнением ролей, но оно не может быть продолжительным. Первое действие еще не кончится, а уже нужно будет послать за полицией. А если же не позвать полиции, то премьер убьет половину актеров всей труппы; jeune premier убежит из театра с «Гостьей», захватив с собой бутафорские драгоценные вещи; а Первый Старик умрет от горя. Я, право, не знаю, что будет делать на следующий день антрепренер. Если только он совсем не закроет театра, то я думаю, что он выйдет на сцену и объяснит публике положение дела в таких словах:

«Милостивые государыни и милостивые государи! Я должен извиниться перед вами в том, что в сегодняшней пьесе будут отсутствовать многие актеры. Дело вот в чем: вчерашнее представление было до такой степени реально, что из числа актеров остались только комик-буфф и «полезность». Но у нас в театре есть очень много мертвых тел, и вот мы воспользуемся ими и, с помощью двух вышеупомянутых актеров, постараемся сделать все, что можем».

Даже и тогда, когда мы изучаем роль в своей комнате, мы не можем забыть ни на минуту о своем «я». Какой-нибудь великий актер, создающий роль, не забывает совершенно о своей личности и думает, что он играет какое-то другое лицо. Вышеупомянутые фантазии могут быть только у сумасшедших. Но он — человек,

сочувствующий всему человеческому так, что может понимать все человеческие мысли и чувства и войти в них, и, составив себе понятие о характере того человека, которого он желает изобразить, он в состоянии понять все, что делается в душе у этого предполагаемого лица, при каких бы то ни было обстоятельствах. Но даже и это сочувствие должно быть оставлено при входе в театр. Когда он переступает его порог, то ум его должен быть свободен от всех развлекающих мыслей. То, что разыгрывается на сцене, есть только точное повторение роли в том виде, как она была задумана в кабинете, и когда поднимается занавес, то только и можно полагаться на хладнокровие и на память. Разумеется, человек должен и *чувствовать* то, что он играет. Чувство — это душа игры. Оно бывает для актера тем же, чем был дар Афродиты для Пигмалиона, — оно одушевляет его статую. Но и это чувство так же, как и все остальное, относится к памяти. Действительная сцена слишком искусственна для чувства, которое поэтому не может быть на ней естественным. Всякая страсть, выражающаяся известными словами и жестами, вспыхивает и угасает на сцене, по произволу актера…

…В прошлый вторник моя игра произвела большое впечатление на зрителей. Я играл ту самую роль, в которой с нашим «Гостем» случилось несчастье, а последний играл роль злодея, который хочет заколоть меня во время сна. (Актера, игравшего роли отцов семейства, уже нет. Он ушел от нас немедленно после этого несчастного случая). До сих пор все шло очень гладко, и я лежал на диване, в глубине сцены, на которой сделалось темно, а он стоял наклонившись надо мною, с ножом в руке. Я лежал очень тихо и дожидался своей реплики для того, чтобы проснуться, собираясь быстро вскочить, я поднял глаза и взглянул Р. в лицо. Может быть я был к нему несправедлив, может быть, это была только одна мимика и то, что я подумал, было только фантазией, возникшей в моем воображении. Но последнее пришло мне в голову уже впоследствии. А в это время в моем уме мелькнула с быстротою молнии такая мысль: «Он хочет отомстить мне за то, что я занял его место. Он хочет обезобразить меня так же, как обезобразили и его». Я вскочил в одну минуту и вырвал нож у него из руки. Мы оба стояли неподвижно и ни один из нас не говорил ни слова. Он побледнел под румянами и дрожал всем телом. Я не знаю, сколько времени мы оставались в таком положении, потому что очнулся только тогда, когда занавес стукнул о пол сцены. Все было совершенно согласно с пьесой до тех пор, пока я не вырвал у него ножа из руки. После этого я, кажется, схватил его за горло и произнес

речь, состоявшую приблизительно из восьми строк. Вероятно эта, устроенная без всякой подготовки, картина и произвела такое сильное впечатление.

Театр дрожал от рукоплесканий, и все поздравляли меня с успехом. «Вероятно, вам известно, что вы сократили конец, — сказал режиссер, — но это ровно ничего не значит. Надо думать, это произошло от того, что вы были немножко нервны, но вы играли великолепно, мой милый мальчик». — Я промолчал о том, что это была не простая игра, и Р. тоже не сказал ни слова…

Я вышел из этой труппы и поступил в небольшую странствующую труппу на амплуа jeune premier'a. Я счел приглашение счастливым для себя случаем и, следуя совету Горация[8], воспользовался им. Поэтому в одно воскресное утро я уложил свою корзину, обошел город и со всеми простился — не без сожаления, потому что почти всегда бывает жаль расставаться с теми людьми, с которыми поживешь довольно долго — и в то время, как на западе закатывалось яркое летнее солнце и в церквах начинали звонить, я — или, лучше сказать, локомотив — понесся на всех парах, а город с его жителями исчез у меня из глаз и потерял всякое значение для моей жизни.

Актеры всегда отправляются в дорогу по воскресеньям, чтобы не терять понапрасну времени. Таким образом какая-нибудь труппа может окончить свои представления в одном городе в субботу вечером, а утром в понедельник проснуться в другом, ближайшем к нему городе, и все приготовить к вечеру. Или же какой-нибудь актер может уйти из одного театра и приехать в театр, находящийся на другом конце Англии, не пропустив ни одного представления. Я знал такого актера, который в субботу играл в Корнваллисе, а в следующий понедельник уже выходил на сцену в Инвернесе. Но хотя путешествие по воскресным дням и может считаться удобным в этом отношении, зато во всех других оно очень неприятно, и я могу уверить людей, строго соблюдающих день субботний, что оно бывает также и наказанием для путешественников, чему конечно, субботники будут очень рады.

В особенности оно неприятно для человека с совестью, которая, по несчастью, была у меня в дни моей юности. Совесть — вещь неприятная для человека в каком бы то ни было возрасте. У нее есть очень скверное свойство, — она всем недовольна, во всем находит вину и во все вмешивается. Она очень неуживчива. Она точно находит какое-то удовольствие в том, чтобы постоянно противоречить и ставить своего обладателя в самое неловкое положение. Во время этих воскресных путешествий она имела обыкновение мучить меня всевозможными способами. Если

какой-нибудь смирный старичок, сидевший напротив меня в вагоне, поднимал глаза и смотрел на меня, то я сейчас же воображал себе, что он в душе осуждает меня, — мне становилось стыдно и я сознавал себя несчастным.

В то время мне никогда не приходило в голову, что он поступает так же дурно, как и я, и что я имею точно такое же право быть шокированным, смотря на него, как и он — ужасаться, смотря на меня. Затем я спрашивал себя, что сказала бы моя покойная тетка, если бы она увидала меня. Хотя то, что сказала бы старушка, не могло иметь ровно никакого значения, но подобный вопрос был одним из тех булавочных уколов, в которых находит наслаждение малодушная совесть. Я был твердо убежден в том, что всякий указывает на меня пальцем, выражая этим презрение. Я, право, не знаю, который из пальцев на руке считается пальцем презрения, но только я чувствовал, что именно этим пальцем на меня и указывают. На всякой станции моя внутренняя увещательница, доводившая меня до отчаяния, шептала мне: «Если бы не было отпетых негодяев вроде тебя, то все эти носильщики и сторожа спали бы теперь мирным сном в деревенской церкви». Когда раздавался свисток, то моя мучительница прибавляла: «Если бы не было тебя и других подобных тебе, достойных презрения бездельников, то этот грязный, испачкавшийся от своей работы машинист оделся бы в свое лучшее платье и ротозейничал бы, прислонившись к фонарному столбу, стоящему на углу той улицы, где он живет». Такие мысли сводили меня с ума.

Пассажиры, сидевшие со мной в одном вагоне, говорили обыкновенно, что они едут навестить больных родственников, и не будь у меня моей ужасной корзины, я сделал бы то же самое. Но даже газетный репортер, при всей его способности на выдумки, не мог бы объяснить, зачем я везу с собою корзину величиною с комод средней величины. Я мог бы сказать, что в ней лежат разные лакомства для выздоравливающего больного, но мне никто бы не поверил, и я, придумывая эту ложь, только трудился бы понапрасну.

Но путешествия по воскресным дням доставляют огорчения и не одним только людям с совестью. Даже вы, мой любезный читатель, найдете его неприятным. Оно очень тихое и имеет такой вид, точно едешь на похороны, что наводит на вас невольную грусть. Вы не видите обычной суеты, составляющей неотъемлемую принадлежность путешествия по железной дороге. На платформах почти совсем нет народа, не видно наваленного грудами багажа и мальчиков с газетами. Буфеты представляются совсем другими, а буфетчицы в этот день бывают еще надменнее,

чем во все остальные дни. Когда вы приезжаете на место назначения, то вам кажется, что вы попали в город мертвых. Вы едете по пустынным улицам в выбранную вами гостиницу. В ней никого нет. Вы идете в общую залу и сидите в ней один-одинешенек. Спустя несколько времени сюда заглядывает коридорный. Вы рады ему, так как это все-таки живое существо. Вы, кажется, готовы кинуться ему на шею и рассказать ему о всех своих горестях. Вы стараетесь завязать с ним разговор для того, чтобы удержать его в комнате, потому что вы боитесь, что вам опять придется остаться одному. Но он не разделяет ваших чувств: на все ваши вопросы он отвечает односложными словами и скоренько уходит из комнаты. Вы идете гулять. На улицах темно и царит тишина, и, когда вы ворочаетесь назад, то вам делается еще тоскливее. Вы заказываете себе ужин, но у вас нет никакого аппетита, и когда вам его подадут, то вы совсем не можете есть. Вы рано уходите в свою комнату, но не можете заснуть. Вы лежите и думаете о том, какой подадут вам счет и, думая об этом, вы незаметно переноситесь в страну снов, и вам представляется, что хозяин гостиницы запросил с вас сто восемьдесят семь фунтов стерлингов, девять шиллингов и четыре с половиною пенса, что вы убили его на месте и, не заплатив денег, бежали из гостиницы в одной ночной сорочке.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Я играю в театре, устроенном «на скорую руку»

Театр, которому я теперь сделал честь своею игрою, был театр, устроенный «на скорую руку». Я не знал этого прежде, а иначе отказался бы от ангажемента. Театр, устроенный «на скорую руку», разве только немногим лучше балагана; сказать кстати, я всегда сожалел о том, что мне не пришлось изучить эту последнюю отрасль театрального искусства. Не проникнув в этот нетронутый временем уголок, я не видал самой живописной и самой романтической части театрального мира. Жизнь в балагане — это самая цыганская жизнь. Балаган, с точки зрения общественной и художественной, стоит на самой низшей ступени драматической лестницы, но что касается занимательности и приключений, то он находится на самом верху ее.

Но я никогда не играл в балагане, стало быть, об этом нечего и говорить. Ближе всего подходил к балагану устроенный «на скорую руку» театр, но этот последний мне совсем не понравился. Мы играли в очень маленьких городах, где совсем не было театра, и устроили что-то вроде сцены во всякой зале для собраний, или комнате, какие мы могли нанять. Обыкновенно мы старались взять под театр залу в думе; впрочем, мы не были очень разборчивы: нам годилась всякая большая комната; мы даже удовольствовались бы и амбаром, если бы только он был для нас удобен. Мы возили с собой наши собственные бутафорские вещи, декорации и авансцену, а для деревянных работ нанимали какого-нибудь местного плотника. Газовые рожки у рампы заменялись у нас рядом свечей, а взятый в городе напрокат рояль представлял собою оркестр. Один раз нам не удалось достать рояля, и хозяин залы дал нам на подержание свой гармониум.

Я не буду долго останавливаться на том, что пришлось мне испытать в этой труппе: воспоминания о ней не особенно приятны. Я считаю достаточным привести краткие выдержки из двух писем — одного, написанного вскоре после того, как я поступил в эту труппу, и другого, которое было послано мною перед самым отъездом:

…Дорогой Джим, я нахожу, что я упустил существенное и ухватился за тень (я хвалюсь не столько оригинальностью этого замечания, сколько тем, что оно подходит к делу). Я постараюсь уехать отсюда как можно скорее и попытаю счастья в Лондоне. У меня исчезло всякое желание играть jeune premier'a, едва только я

увидал примадонну, которою у нас состоит жена антрепренера, как это бывает везде. Она — толстая, сальная, немолодая женщина. У нее грязные руки, грязь под ногтями и во все время представления она сильно потеет. Она в три раза толще меня и, если бы только публика, перед которой мы играем, была сколько-нибудь способна к юмору — что, судя по тому, насколько я ее знаю, кажется мне очень сомнительным — то наше объяснение в любви показалось бы ей очень забавным. Как стали бы потешаться над этим в каком-нибудь лондонском театре зрители галереи, собравшиеся на первое представление. Но я думаю, что смешная сторона остается здесь совершенно незамеченной. Моя рука, когда я хочу схватить ее за талию, доходит ей до половины спины. В одной из ролей мне приходится тащить ее поперек через всю сцену. Клянусь тебе, я радехонек, что мы редко играем эту пьесу.

Она говорит, что из меня никогда не выйдет хороший «любовник», если только в моей игре не будет побольше жару (она выговаривает это слово «гару»)…

…Мы с тобой увидимся в следующий понедельник. Я больше не могу этого выносить. Я разорюсь вконец. Семь шиллингов и шесть пенсов — вот все, что я получил на прошлой неделе, а на позапрошлой — одиннадцать шиллингов. Наши дела идут совсем не дурно. На наших представлениях бывает очень много публики. Старик умеет очень ловко составлять «взятые из своей головы» афиши, и они привлекают публику на два или на три представления, которые мы даем в каждом городе. Ты знаешь, что я называю «взятой из головы» афишей: — «Разрушенная мельница у пруда Мертвеца. Грация Мервин думает встретить тут своего приятеля, но встречает врага. Гарри Бэддон вспоминает о прошлом. «Отчего ты не любишь меня?» — «Оттого, что ты дурной человек». — «Так умри же! Сейчас начнется борьба!!» — «Помогите»! — «Здесь некому помочь тебе». — «Ты лжешь, Гарри Бэддон, я здесь». — Рука из могилы!! Гарри Бэддон получает наказание по заслугам!!!»

Вот что я называю «взятой из головы» афишей.

Но какие бы деньги он ни получал, он приберегает их для себя. Он всегда имеет возможность останавливаться в самой лучшей гостинице в городе, тогда как мы должны закладывать наши вещи для того, чтобы заплатить за самое плохое помещение.

Эти антрепренеры грабят не одних только актеров, но от них терпят значительные убытки и авторы. В нашем репертуаре есть две пьесы, на которые сохраняют право литературной собственности; обе они дают хороший сбор, но авторы не

получают ни пенни за представление. Для того, чтобы не вышло каких-нибудь неприятностей, изменяют заглавие пьесы и имена главных действующих лиц, так что если бы автор, или его друзья (предполагая, что у какого-нибудь автора могут быть друзья) стали бы наблюдать за этим, то они никогда бы ничего не открыли. Да если бы они даже и открыли, то это ни к чему бы не повело. Если бы они стали делать попытки стребовать гонорар с людей, проделывающих подобные вещи, то им пришлось бы потратить много денег — я слышал, что это делается повсюду в провинции — у этих людей денег нет и ничего нельзя с них получить. Человек, у которого нет ни гроша за душою, может нисколько не бояться половины внесенных в устав законов.

Какая неприятная вещь на сцене огнестрельное оружие! На днях я так и думал, что меня ослепили, и у меня еще до сих пор болят глаза. Актеру, который стрелял, следовало бы выстрелить на воздух. На маленькой сцене это единственно безопасный способ, хотя бывает очень смешно видеть, что один человек падает мертвым от того, что другой стреляет из пистолета в луну. С этими пистолетами всегда бывает какая-нибудь неудача. Они или совсем не стреляют, или же выстрел попадает не туда, куда нужно, и если они стреляют, то почти всегда случается несчастье. На них никогда нельзя положиться. Ты бросаешься на сцену, приставляешь кому-нибудь к голове пистолет и говоришь: «Умри!», но пистолет дает осечку и другой актер не знает, умирать ему, или нет. Он дожидается того, чтобы ты выстрелил в него другой раз, и пистолет опять дает осечку; тут ты находишь, что бутафор не положил в него пистона, и вертишься на все стороны, прося, чтобы тебе дали пистон. Но другой актер, думая, что все кончено, решается умереть сейчас же только от одного страха, и когда ты опять подступишь к нему с тем, чтобы убить его окончательно, ты увидишь, что он уже мертв.

Мы здесь пускаемся на разные хитрые выдумки для того, чтобы пополнить наш гардероб. Мой старый фрак, когда я пришпилю под воротник тот суконный капюшон, который выкроила для меня одна из актрис, и пришью к рукавам кружевные манжеты, идет у меня для ролей кавалеров в половине старинных комедий; а когда я откину передние отвороты назад и покрою их красным коленкором, то я — французский солдат. Пара белых «невыразимых» отлично сходит за лосинные панталоны для верховой езды, а когда мне приходится играть роль испанского заговорщика, то я всегда беру у моей квартирной хозяйки ту скатерть, которой она покрывает стол…

* * *

В конце октября мне пришлось опять побывать в Лондоне. Я первым делом отправился в мой старый театр, в Сэррей. Там были уже другая труппа и другой антрепренер, но последний знал меня, а так как у меня была фрачная пара, то он пригласил меня на амплуа важного господина, за двенадцать шиллингов в неделю. Я пробыл здесь только одну неделю, а потом он закрыл театр. Отчего он обанкротился, не от того ли, что заплатил мне эти двенадцать шиллингов, — я наверно не знаю; но только в понедельник утром пришло несколько человек рабочих, которые сняли газовые трубки, и тогда антрепренер сказал, что он не может продолжать дела и что мы должны позаботиться сами о себе.

Поэтому я, вместе с двумя или тремя другими актерами, отправился в один театр в Ист-Энде, который должен был открыть на известное число представлений какой-то знаменитый, известный всему миру, актер. Это был уже сороковой известный всему миру актер, о котором я слышал в первый раз в течение этого года.

Очевидно, что при моем воспитании, мне почти не сообщали никаких сведений о знаменитых людях, что не делает чести моим воспитателям.

Театр был так замысловато устроен, что для того, чтобы попасть на сцену, нужно было проходить через общую залу находившегося рядом с театром питейного заведения, хозяину которого этот театр и принадлежал. Впрочем, наша маленькая компания не поддавалась искушению, потому, если бы даже мы все сложились, то я не думаю, чтобы у нас в это утро набрался один шиллинг. Я находился в это время в самом критическом положении. Остававшиеся у меня немногие фунты стерлингов были разменяны на шиллинги после покупки мною гардероба, проезда по железной дороге и других расходов, и я понимал, что если мои дела не поправятся, то мне останется только одно — все бросить и уйти со сцены. Однако я твердо решился не делать этого до последней крайности, потому что я боялся, чтобы мои приятели не заговорили в один голос: «Я тебе это говорил», или: «Я очень хорошо знал, что так и будет», и что я услышу это и подобное этому, всем известное и доводящее человека до бешенства торжествующее карканье, которым так кичатся и так уничтожают нас наши друзья, радующиеся нашей невзгоде.

Ист-Эндский театр оказал мне временную поддержку в это критическое время. Я был настолько счастлив, что попал в число актеров, выбранных из толпы неотвязчивых и сильно добивавшихся ангажемента просителей, между которыми я встретил двоих актеров из той странствующей труппы, откуда я

уехал недавно: все они пришли к тому же самому заключению, к какому пришел и я, а именно, что невозможно жить и «прилично одеваться на сцене и в частной жизни» на жалованье, равняющееся десяти шиллингам в неделю. Ангажемент этот был только на две недели, и я запомнил хорошо единственный, относящийся к этому времени, случай.

Тут однажды меня подняли на смех, и вот по какой причине. Мы играли одну мелодраму, в которой действие происходит где-то за границей, и режиссер настоял на том, чтобы я оделся в самый эксцентричный костюм. Я знал, что надо мною будут смеяться, особенно в этом околотке, и мои ожидания вполне оправдались. Не успел я пробыть на сцене и пяти секунд, как вдруг услыхал, что на галерее кто-то спрашивает сиплым голосом: «Что это такое, Билль?» А потом еще кто-то прибавил: «Скажи нам, что это, тогда и сам разберешь».

За этими словами раздался сильный хохот. Меня кинуло в жар, я находился в очень неприятном нервном состоянии. Я едва было не забыл свою роль и мне стоило большого труда сказать первые слова. Но лишь только я раскрыл рот, как кто-то в партере крикнул тоном, выражавшим величайшее удивление: «А, да он живой!»

После этого замечания насчет моей наружности посыпались, как град: «Этого болвана хорошо бы выставить на окне в магазине», «Славный костюм для того, чтобы гулять с невестой в воскресенье!», «С него взяли за фасон тридцать шиллингов» и т. д., а какой-то добродушный человек захотел меня ободрить и закричал во все горло: «Не обращай на них внимания, дружище, продолжай. Они тебе завидуют, потому что ты нарядно одет». Я и сам не знаю, как я справился с ролью. Я с каждой минутой все более и более конфузился и делался нервнее и, понятно, чем больше я запутывался, тем больше издевались надо мной зрители. Большинство актеров сочувствовало мне, потому что многим из них приходилось быть в таком же положении; но я чувствовал себя в высшей степени несчастным в этот вечер и после этого день или два боялся даже и смотреть на публику.

Травить человека это очень забавно, но тот «зверь», которого травят, только спустя долгое время находит, что это было действительно смешно. Когда я сам бываю в театре, то не могу слышать насмешек над актерами. Актеры непременно должны быть людьми обидчивыми и, вероятно, те, которые поднимают их на смех, если у них что-нибудь немножко не удается, и не подозревают до какой степени они огорчают их своими насмешками. Справедливость требует — а иногда бывает даже и необходимо — чтобы публика выражала свое неодобрение, это

неизбежно, но должно быть допускаемо с целью исправить действительные недостатки актеров. «Издевательство» поощряется по большей части самой неразвитой частью публики и только для того, чтобы иметь случай выказать свое пошлое остроумие.

Проиграв свои две недели в Ист-Эндском театре, я поступил в хор в новую оперу-буфф, которую должны были исполнить в Уэст-Эндском театре. Мы репетировали пьесу три недели, а она дана была только один раз; затем я опять взял в одном провинциальном театре ангажемент, достать который не представляло особенного труда, так как это было перед самым Рождеством.

Мое пребывание в Лондоне не принесло мне большой выгоды, но оно доставило удовольствие моим приятелям, так как они имели теперь возможность прийти в театр и посмотреть мою игру. По крайней мере, я думаю, что это было для них удовольствием, хотя сами они ничего не говорили. Мои друзья всегда очень осторожны и от них не услышишь преувеличенных похвал. Я не могу обвинить их в лести. Они не любят говорить комплиментов, которых не хотят сказать. Они предпочитают говорить неприятные вещи, которые имеют намерение сказать. В них нет никакого притворства, они никогда не стесняются сказать мне то, что они обо мне думают. Это очень хорошо с их стороны. Они говорят то, что думают, и я уважаю их за это; но если бы они думали несколько иначе, то я уважал бы их и еще больше.

Неужели у всех бывают такие же добросовестные друзья? Я слыхал, что у других бывают такие друзья, которые «восхищаются» ими, «льстят» им, относятся к ним «с чрезмерной снисходительностью», но у меня никогда не бывало друзей этого сорта. Я часто думал, что было бы приятно иметь подобных друзей, и если у кого-нибудь друзей такого рода больше, чем ему нужно, и ему хотелось бы приобрести несколько друзей другого покроя, то я готов с ними поменяться. Я могу ему поручиться за то, что мои друзья ни в коем случае не восхищаются мной и не льстят мне; а также он не найдет их и чересчур снисходительными. Они будут неоцененными людьми для человека, который действительно желает, чтобы ему говорили об его недостатках; в этом отношении они — воплощенная откровенность. Человеку, имеющему о себе высокое мнение, их общество может быть очень полезно. Оно было полезно и мне.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Мой последний выход на сцену

Я выехал из Лондона и ровно год, считая с того дня, когда я отправился в провинцию, взяв там мой первый ангажемент, и в продолжение всего времени, пока играл в провинциальных театрах, не возвращался в этот город. Я выехал из него с багажом рано поутру, с почтовым поездом, на который сел в Юстоне, а вернулся в него поздно ночью, хромая от усталости, голодный и совершенно без всякого багажа, кроме того платья, которое было на мне надето.

О немногих последних месяцах моей игры на сцене расскажут следующие краткие выписки из писем. В тоне некоторых из них слышится небольшое раздражение, но в то время, когда были написаны эти письма, я видел, что сильно обманулся в своих ожиданиях, и мне ничего не удавалось — а это такие обстоятельства, при которых человек способен видеть окружающее в довольно мрачном свете.

Через три недели после Рождества я писал:

…Дело идет хорошо и деньги платят аккуратно. Но когда дают балеты, то дело почти всегда идет хорошо: увидим, что будет позже, когда мы начнем переезжать из одного города в другой. Как любит провинциальная публика эту пантомиму и как я ненавижу ее! Не могу сказать, чтобы я имел очень высокое мнение о провинциальной публике. Ее надо еще долго воспитывать для того, чтобы она могла понимать искусство. Она громко хохочет над грубым шутовством и хлопает изо всех сил, услышав какой-нибудь высокопарный вздор. Учиться играть на сцене в провинции, это все равно, что идти в Биллингсгэт и там учиться английскому языку.

В субботу я играл роль Первого комика-буфф, — мне сказали об этом только за полчаса до представления, — так как сам Первый комик-буфф был в это время пьянехонек. Когда говорят о том, что нужно поднять сцену, то при этом, к сожалению, всегда указывают на низкий умственный и нравственный уровень актеров. Надо думать, что репутация актеров страдает от того, что публика, взяв газету «Эра», видит в ней множество объявлений, кончающихся такими словами: «Просят обращаться с предложениями только трезвых актеров». «Актеры должны быть трезвыми, по крайней мере, во время представления». «Актеров, которые постоянно бывают пьяными, просят не обращаться с письменными предложениями».

Я знал таких идиотов-актеров, которые нарочно напивались почти допьяна перед выходом на сцену, очевидно, думая, что они будут не в состоянии играть, если останутся в своем уме, который у них и без того был невелик, и что они лучше управятся со своей ролью, если останутся совсем без ума. В театральном мире сохраняется много преданий о таком-то, или таком-то актере, которые всегда играли такую-то, или такую-то роль, предварительно напившись допьяна; и вот когда какой-нибудь жалкий, незначащий актер должен бывает играть одну из этих ролей, то он, горя благородным желанием следовать по стопам своего знаменитого предшественника, также напивается допьяна.

Потом, если бы актеры употребляли поменьше бранных слов, то и тогда последних с избытком хватило бы на все те случаи, когда в них является необходимость. Я помню, что однажды вечером в *** мы все согласились платить штраф — по одному пенни за каждое бранное слово. Но после двухчасового испытания мы должны были отменить этот штраф: ни у кого из нас не осталось денег…

Через шесть недель после этого:

…Дело идет не лучше, а хуже. Наш антрепренер вел себя очень хорошо. Он платил нам жалованье до конца прошлой недели, хотя всякий из нас мог видеть, что он каждый вечер терпел убыток; а потом в субботу, после раздачи жалованья, он созвал всех нас и откровенно изложил нам все обстоятельства. Он сказал, что не может продолжать дела, но что если мы хотим, он готов держать театр еще неделю или две вместе с нами на товарищеских началах, чтобы посмотреть, не вернется ли к нам счастье. Мы согласились на это и образовали из себя таким образом «общину», хотя, по моему мнению, ее было бы правильнее назвать общей бедностью, потому что на долю каждого, за вычетом издержек, оставалось от представления по восемнадцати пенсов. Антрепренер берет себе три из этих паев (один за то, что он — антрепренер, другой за то, что играет, а третий для того, чтобы у него выходило три пая), а на долю всех остальных приходится по одному паю. Я скоро буду в страшно стесненном положении, несмотря на то, что трачу теперь в целую неделю меньше того, что я прежде платил за один обед…

Через неделю после этого вся труппа разошлась, и тогда я поступил в другую, которая находилась в это время неподалеку. Вот что было написано об этой последней:

…Я перебиваюсь кое-как, вот все, что я могу сказать. Если дела пойдут еще хуже, то я пропал. Теперь у меня совсем не остается денег.

На прошлой неделе здесь случилось очень грустное

происшествие. Наш премьер умер вдруг от разрыва сердца, оставив жену и двоих детей в совершенной нищете. Если бы он был известным лондонским актером и половину своей жизни получал, например, три тысячи фунтов стерлингов жалованья в год, то в театральной прессе появилось бы множество жалобных воззваний к публике; все его друзья написали бы в газетах, великодушно предлагая свою готовность принимать пожертвования для увековечения его памяти, а все театры дали представления по двойным ценам для того, чтобы заплатить его долги и похоронные издержки. Но так как наш премьер никогда не зарабатывал больше двух фунтов в неделю, то нельзя было и ожидать от благотворительности, чтобы она заинтересовалась этим случаем, так что его жена содержит себя и детей тем, что берет чужое белье в стирку. Я не думаю, чтобы она стала просить о вспомоществовании, даже если бы у нее была возможность получить его, потому что когда ей намекнули об этом, то она вышла из себя и начала говорить какой-то вздор о том, что она слишком уважает профессию мужа, а потому не может унижаться и просить милостыню…

Дела этой труппы также не пошли. Этот год был ужасным годом для театров. Торговля шла везде плохо, и первая статья, которую люди с уменьшившимся доходом вычеркнули из списка своих расходов, были «развлечения». Мало-помалу я расставался со всем, что только было у меня ценного, и посещение ссудной кассы перед отъездом из каждого города сделалось для меня таким же необходимым делом, как и укладка вещей.

Разъезжая по провинции, я был похож на гибнущий корабль, носящийся по бурному морю, и означал свой след теми драгоценностями, которые я выкидывал за борт для того, чтобы спастись. В одном городе я оставил свои часы, в другом — цепочку, тут кольца, а там фрачную пару; здесь я потерял письменный прибор, а в другом месте рейсфедер. И все шло таким образом — или лучше сказать, я терял одну за другою свои вещи — до начала мая, когда было написано это последнее из многочисленных писем:

…— Дорогой Джим, — ура! Наконец-то мне повезло. Да я думаю и пора после всего того, что пришлось мне испытать. Я боялся, что профессия в моем лице потеряет одного из своих членов, но теперь этого бояться нечего. В настоящее время я в новой труппе, куда поступил с прошлой субботы, и дело идет у нас отлично. Антрепренер — прекрасный господин и человек деловой. Он понимает, как нужно вести дела. Он печатает везде, где только можно, везде расклеивает афиши, не щадит издержек и все делает прекрасно. При этом он весельчак и, как видно,

человек развитой, потому что сумел оценить меня. Я к нему даже и не обращался, — он пригласил меня сам, после того как видел мою игру на прошлой неделе, когда он набирал себе труппу. Я поступил на амплуа Первого «Гостя» за тридцать пять шиллингов в неделю. Он был капитаном в армии и его можно назвать джентльменом в полном смысле слова. Он никогда не говорит дерзостей, ни во что не вмешивается и все его любят. Он намерен объехать всю северную Англию, побывать во всех больших ланкаширских и йоркширских городах, а затем на зиму переехать с нами в Лондон. Он хочет, чтобы я заключил с ним контракт на год и положить мне два фунта стерлингов и пять шиллингов в неделю. Я сделал вид, что не очень спешу заключить контракт. В подобных случаях всегда лучше немножко помедлить, и поэтому сказал ему, что подумаю, но, конечно, я соглашусь. Больше писать не могу. Сейчас иду к нему обедать. Мы проживем здесь три недели, а потом отправимся в ***. У меня очень удобное помещение. Твой…

Это было написано во вторник. В субботу, в двенадцать часов дня, мы пришли в театр за получением жалованья. Капитана в театре не было. Он в это утро отправился в гости к сэру такому-то, одному из соседних помещиков, бывшему его большим приятелем, и еще не возвращался. Он хотел вернуться назад к вечеру — так уверял нас вежливый в обращении кассир — и жалованье будет роздано после представления.

И вот вечером, по окончании представления, мы все собрались на сцене и ждали. Ждали мы около десяти минут, но вот актер, игравший роли отцов семейства, который ходил через улицу, чтобы выпить стаканчик прежде чем запрут портерную, вернулся назад с испуганным лицом и сообщил нам, что он сейчас видел одного человека, служащего на станции в багажном отделении, который сказал ему, что «капитан» уехал в Лондон с первым утренним поездом. И только что «отец семейства» объявил нам об этом, наш рассыльный вспомнил тоже, что он видел, как вежливый кассир ушел из театра сейчас же после начала представления и унес с собою маленькую черную сумку.

Я пошел в уборную, собрал все свои вещи в узелок и с этим узелком спустился вниз. Все остальные актеры стояли на сцене с убитым, растерянным видом и тихим голосом говорили между собою. Я прошел мимо них, не говоря ни слова, и подошел к двери. Это была дверь на блоке. Я отворил ее, придержал ногой и с минуту постоял на пороге, всматриваясь в темноту. Затем я поднял кверху воротник пальто и вышел на улицу: дверь, ведущая на сцену, захлопнулась за мной и щелкнула, с тех пор я уже никогда не отворял другой такой двери.

notes

Примечания

1

Мои приятели говорят, что это неправда и что я никогда не был актером. А я говорю, что был, кому же это и знать, как не мне? — *Прим. авт.*

2

Ковент-Гарден (англ. Covent Garden) и Друри-Лейн (англ. Drury Lane) — знаменитые театры Лондона. — *Прим. верст.*

3

Здесь в подлиннике игра слов: «properties» — бутафорские вещи и «props» — подпоры. — *Прим. перев.*

4

Jeune premier (франц. «первый молодой») — амплуа актера, играющего роли «первых любовников». — *Прим. верст.*

5

Именно таким образом мы репетировали Линдлея Мюррея. Мы все без исключения были страшно раздосадованы и возмущены, но что же было нам делать? — *Прим. авт.*

Место, где торгуют старым платьем. — *Пр. перев.*

7

Слова, взятые из монолога Гамлета: «Быть или не быть?» — *Пр. перев.*

8

Я и сам хорошенько не знаю, кто дал такой совет. Я приписал его Горацию для того, чтобы со мной не спорили. — *Прим. авт.*